

18+

Александр
Кабаков

*Хроники
частной жизни*

Всё поправимо

Премия
БОЛЬШАЯ
КНИГА



Новая русская классика

Александр Кабаков

**Все поправимо.
Хроники частной жизни**

«Издательство АСТ»

2004

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Кабаков А. А.

Все поправимо. Хроники частной жизни / А. А. Кабаков —
«Издательство АСТ», 2004 — (Новая русская классика)

ISBN 978-5-17-159047-5

Александр Кабаков (1943–2020) – прозаик, журналист, драматург; автор нашумевшего «Невозвращенца», изящного «Беглеца», ироничных «Московских сказок» и других произведений. Жизнь героя романа «Всё поправимо» Михаила Салтыкова – жизнь целого поколения на фоне полувековой истории. С необыкновенным вниманием к деталям быта ушедшей эпохи Салтыков вспоминает детство в военном городке в 1950-е, азы фарцовки и джаз в 1960-е, стилижью юность и зрелость, которая пришлась на годы перестройки; здесь и любовные похождения, и предательство близких, и доносы, и пропавший клад, и растворившиеся без следа деньги. Роман «Всё поправимо» удостоен премии «Большая книга».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-159047-5

© Кабаков А. А., 2004
© Издательство АСТ, 2004

Содержание

Пролог. Дом престарелых	6
Книга первая	7
Глава первая. Утро	7
Глава вторая. Уроки	14
Глава третья. Праздник	22
Глава четвертая. Ночь	27
Глава пятая. Каникулы	29
Глава шестая. Свидание	34
Глава седьмая. День рождения	39
Глава восьмая. День памяти Ленина	46
Глава девятая. Болезнь	50
Глава десятая. Испытания	57
Глава одиннадцатая. Воскресенье	64
Глава двенадцатая. Весна	70
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Александр Абрамович Кабаков

Всё поправимо. Хроники частной жизни

*И идут дни за днями, сменяется
день ночью, ночь днем —
и не оставляет тайная боль
неуклонной потери их —
неуклонной и бесплодной,
ибо идут в бездействии,
все только в ожидании действия и — чего-то еще...
И идут дни и ночи, и эта боль,
и все неопределенные чувства и мысли,
и неопределенное сознание себя
и всего окружающего и есть моя жизнь,
не понимаемая мной.*

Иван Бунин

© Кабаков А.А., наследники

© ООО «Издательство АСТ»

Пролог. Дом престарелых

Теперь, когда все уже ясно и кажется, что по-другому и не могло случиться, да и не имеет никакого значения, как могло бы случиться, потому что все уже произошло и будет идти дальше, как идет, и ничто не остановит эту колесницу, пока не изотрется ось, и не разлетится все к чертовой матери, и не рухнет вон с дороги в овраг, и не пронесется мимо новый экипаж, – теперь я пытаюсь понять, как же мы жили тогда, как доживаем теперь.

Мне, собственно, и делать-то уже больше нечего, кроме как пытаться понять. Им пока нет нужды, они еще гонят всю, не думая о силе трения, победившей нас и уже их предупреждающей еле слышным сквозь грохот гонки скрипом. Они уже знают, конечно, что трение побеждает всегда и на финиш приходит без соперников, но им не до этого, да и нет давно тормозов.

Я же хочу увидеть нас там, на скрывшемся в пыли старте, в бешенстве соперничества, на последних кругах, разглядеть очертания исчезнувшего навсегда и понять, на каком повороте вырывается вперед и уходит, увеличивая отрыв, будущий победитель – и когда переворачивается и, разбрасывая колеса, летит кверху тормашками в огне и грохоте.

Я просыпаюсь тяжело и лежу несколько минут, вспоминая, что еще жив – ночь прошла без сна, болела, как всегда, нога, и только лиловый рассвет дал недолгий покой. Потом я откидываю одеяло и с отвращением рассматриваю в свете ночника рваные шрамы над левым коленом. Да, повезло – обе пули вошли в мягкое.

Натянув тренировочные штаны и сунув щетку в футляре в карман теплой куртки, тихо встаю и иду чистить зубы – дай бог здоровья моим ребятам, все платят и платят за приличную богадельню, на две комнаты сортир с душем. Ожидая очереди – послеинсультный сосед, с которым делим умывалку, встает рано и копается долго, а потом еще долго мычит, извиняясь, – я рассматриваю себя в высоком зеркале, зачем-то повешенном в нашем общем тамбуре. Огромный, нелепый, с косой бородой седыми клочками, становлюсь все больше похож даже не на Льва Толстого, а на глупый, несоразмерно большой памятник низкорослому графу. Бороду надо бы подстричь, да лень возиться, корячиться перед зеркалом, заглядывая искоса.

За седыми космами, за редким пухом вокруг плечи во всю голову, за глубокими складками и мелкими бумажными морщинами вокруг набрякших подглазий, за косо выпирающим под самой грудью животом я пытаюсь разглядеть мальчишку, похожего на маленького японца, с тощими руками и ногами-палочками, юного пижона с блестящим пробритым пробором, огромного тяжелого мужика с неизменным выражением упрямого презрения к миру на уже слегка оплывшем лице...

Ничего не видно. Смотрит в зеркало, напряженно шурясь, высокий обрюзгший старик. Увидеть их всех удастся только ночью, лежа без сна с закрытыми глазами, прислушиваясь – спокойно ли дышит? – к иссякающей рядом жизни.

Что ж, дождусь ночи.

Книга первая

Глава первая. Утро

Отцу Мишка не придавал большого значения. Планируя свои действия и оценивая их предполагаемые результаты, Мишка почти не учитывал возможность отцовского вмешательства в ход событий. С точки зрения практической мать была куда важнее, реально влияющие на жизнь вещи находились в полной ее власти. Притом представлялось совершенно очевидным, что сама по себе, в одиночку, мать существовать не может, она абсолютно зависит от присутствия в мире отца. Но зависимость эта была настолько же неявной, насколько естественной. Так живущий в современном мире человек зависит от подачи электричества, заводской выпечки хлеба и работы общественного транспорта, но не осознает этого в каждый миг, поскольку пока все идет нормально, он чувствует только свою подчиненность начальству, страдает от нехватки денег, боится сильных врагов и, если уже испытал, болезней, но никак не холода, тьмы, бескор-мицы, непроезжих пространств – словом, как раз того, что действительно страшно, не боится.

Отец, Леонид Михайлович Салтыков, работал заместителем главного инженера на производстве п/я 12, то есть на военном заводе при большом, всесоюзного значения лагере, а мать, Салтыкова Мария Ильинична, никем не работала, как почти все женщины в городке, сидела дома, варила любимый Мишкин суп из пестренькой фасоли, мыла дощатый, рыжей блестящей краской крашенный пол и читала книжки.

Утром Мишка выходил из дому вместе с отцом.

Начищенными до теплого блеска сапогами отец ступал, не выбирая куда, но грязь, тугая желтая глина, тяжелой каймой облеплявшая Мишкины галоши, на отцовы сапоги не цеплялась, он шел, будто по воздуху.

Обычно Мишка, рано встав, быстро умывшись (постоял в ванной, намочил зубную щетку, пригладил мокрой рукой челку, украшавшую почти наголо стриженную голову, помял мокрыми руками свежее вафельное полотенце) и надев лыжные байковые штаны-шаровары с застегивающейся манжетой внизу и двухцветную куртку-бобочку, низ из отцовых старых синих галифе, верх из материной клетчатой серо-черной юбки, молния с поводком-цепочкой от какой-то износившейся тряпки еще из американских посылок (или серую, из тонкого «пионерского» сукна форму, китель со стоячим воротником и латунными пуговицами с гербом и длинные штаны со стрелкой, но форму Мишка не любил, потому что в школе тех, кто ходил в серой форме, называли фашистами, а те, кто ходил в школу из села, форму вообще никогда не носили, потому что у сельских на нее не было денег), до завтрака наблюдал процесс подготовки к этому выходу.

В полосатых лилово-кремовых пижамных штанах и голубой майке в рубчик с отвисшими от узких бретелек проймами отец босиком выходил на деревянную, еще сыроватую после мытья лестничную площадку и располагался там со всем имуществом – с заточенной щепкой для отдирания засохшей грязи с ранта и подошвы; с плоской, тяжело, с подковыриванием, открывавшейся круглой банкой подсохшего и от краев банки отошедшего гуталина; с вытертой и слипшейся щеткой для намазывания и пушистой, с хорошо отполированными желобками в ручке, расчисткой; с сапогами, которые нес за матерчатые петельки, вытащенные из голенищ. Чистка занимала ровно пятнадцать минут, не больше, но не меньше, и заканчивалась теплым сиянием, с которым от тупоносых головок и расплавленных голенищ начинало исходить это самое тепло, не позволявшее грязи приставать к полированному хрому. Мышцы на тощих руках отца натягивались и сокращались, а под голубой вязкой майки дергались и сжимались, и сияние проступало, загоралось, начинало греть...

Потом сапоги, дружно свесив набок халявки, становились в угол прихожей, а отец садился на табуретку посреди кухни с кителем на коленях и соответствующим набором на краю кухонного стола – с прямоугольной фибровой дощечкой, прорезь в которой имела форму огромной и грубо воспроизведенной замочной скважины, пузырьком бурой взвеси под названием «асидол» и байковой тряпочкой, отрезанной от старой портянки. Правую переднюю полу кителя отец собирал в гармошку так, что все пять латунных пуговиц с выпуклыми звездами помещались в горсть, после чего каждая просовывалась в широкую часть прорези-скважины и сдвигалась в узкую, так что в конце концов все пять оказывались стиснутыми в ряд в узкой части прорези, отец ронял на каждую по капле асидола и начинал растирать его и полировать все вместе тряпочкой и доводить каждую пуговицу до блеска круговым движением, и зеленоватая латунь загоралась. В завершение еще влажной тряпочкой он проходил по майорским звездам на серебряных инженерских погонах и стряхивал выпавшие из асидола крупинки мела с ткани. Иногда после этого отец заставлял Мишку снять его китель и тоже начистить пуговицы.

Наступала очередь подворотничка. Резким и ровным рывком отец отдирает от куска чуть замахрившегося по краям полотна длинную и узкую полоску, ровно складывает ее по длине вдвое, со второй или третьей попытки вдергивал в иглу длинную белую нитку и непрерывным волнообразным движением в один момент приметывал ленту верхним краем, складкой, к сатиновой изнанке кительного воротника, так что ровно миллиметр оставался над воротником. Потом этот миллиметр врезался в навеки загорелую отцову шею, и уже никогда с тех пор Мишка не видел мужской одежды и мужской шеи красивее. А Мишке подворотничок пришивала мать с вечера.

Под конец сборов отец раскладывал на столе старый, истертый шинельный отрез, которым зимой укрывались для тепла поверх атласного одеяла в прошвенном пододеяльнике, нес с плиты маленький тяжелый утюг с обернутой ватином тонкой ручкой и приступал к бридгам. Синие коверкотовые – бостоновые полагались от полковника – бриджи лежали на столе расплавленным гигантским цыпленком. Сначала отец через кусок марли отпаривал пузыри на узких коленях, потом переворачивал штаны задом кверху и долго водил над марлей, покрывавшей этот блестящий вытертый зад, утюгом в облаке огненного пара. Мишке брюки отец гладил, заглаживая бритвенно острую стрелку раз в неделю сам, чтобы Мишка утюгом не ошпарился.

Погладив брюки, отец сразу начинал одеваться. Мгновенно сбрасывал пижамные штаны и, оставшись в синих очень широких трусах, стоя, с невероятной ловкостью просовывал тонкие жилистые ноги в узкие нижние части бриджей, вздергивал их доверху, так что стеганый высокий корсаж долезал почти до подмышек, и стягивал его сзади вороненой зубастой пряжкой, прикусывавшей матерчатый хлястик. После этого, шлепая нижними завязками штанин по полу, он шел к шкафу, брал из узкого бельевого отделения выстиранную и выглаженную матерью пару чистых портянок и садился обуваться на маленький, будто игрушечный венский стульчик, ранее принадлежавший Мишке, а теперь стоявший в прихожей.

Подложив уголок портянки под большой палец, он мигом оборачивал всю ногу поверх бриджей почти до колена полотном, так что получалась плотная и даже твердая упаковка (Мишка уже тоже почти так умел), подсовывал верхний кончик внутрь, закрепляя сделанное, и вбивал ноги по очереди в туго наползавшие голенища.

За все это время мать на кухне успевала пожарить на керогазе картошку тонкими, с заворачивающимся краем ломтиками и блестящие жирным тусклым блеском котлеты – отцу две, Мишке одну. На кухне стоял легкий синеватый масляный угар, на клеенку норовила присесть озверевшая поздняя муха, избежавшая липучки, винтом свешивавшейся с середины потолка, полные материны руки в сочинском, уже выпцветшем загаре двигали тарелки, черная сковорода утверждалась на проволочной подставке. Отец и Мишка быстро завтракали, отец запи-

вал чаем из большой своей кружки с украинскими цветами, а Мишка чаю не пил, только съедал два куска рафинаду.

Потом выходили из дому, переходили грязную дорогу, шли вдоль кирпичного забора с еще одним проволочным забором по верху кирпичной кладки, в небе. Сизое ледяное небо конца октября, рассеченное узловатыми линиями колючки, летело, уплывало, непрерывно меняя само себя, раздвигалось, обнаруживая новое небо – такое же.

За углом отец поворачивал к КПП, предварительно притронувшись к Мишкиному затылку под кепкой, над самой шеей, – прощался до вечера, а то и до конца недели, если была неделя дежурства, а Мишка шел дальше, до конца забора, переходил еще одну дорогу, асфальтовую, по которой иногда шли колоннами машины, впереди «додж три четверти» с брезентовой кабиной, потом «студебеккеры» с наглухо задраенными тентами длинных кузовов, потом еще два «доджа» и один командирский «ГАЗ-67», «козлик» с трубчатым каркасом, на который была натянута выцветшая брезентовая крыша, отчего машина почему-то напоминала Мишке аэроплан летчика Уточкина.

В коротких кузовах «доджей» ехали по восемь солдат с новыми удивительными автоматами – ствол без дырчатого кожуха, а как у карабина, штыки откидывающиеся, под прикладом ручка, как у нагана, а магазин длинный, плоский и изогнутый, как слоновий бивень. Автомат – Мишка однажды слышал – называется «ака».

Что везли в «студебеккерах», узнать было нельзя. Некоторые мальчишки говорили, что в них везут на смену заключенных, а другие считали, что секретные детали, из которых на заводе делают секретное оружие.

А из «козлика» отцу, улыбаясь во все сверкавшие мелкие зубы, отдавал честь знакомый капитан дядя Лева Нехамкин. Он прикладывал широкую руку к малиновому околышу голубой фуражки, а отец, стоя у проходной и приложив худые и кривоватые пальцы к черному бархатному, тоже улыбался, открывая длинные желтые зубы и даже темно-розовые десны, но смотрел не на капитана, а на Мишку, ждал, пока сын, пропустив колонну, перейдет дорогу и помчится, размахивая портфелем и серым сатиновым мешком для калош, в котором пока лежали тапочки для физры, уже по прямой к двухэтажному, из белого кирпича, бараку школы.

На крыльце школы, возле правого гипсового шара, скрываясь за ним от возможного взгляда из директорского окна, Мишку ждал Игорь Киреев. Круглое его, зеленовато-бледное от конопатин лицо, из которого клювом высовывался длинный и острый, красный от вечной простуды нос, как всегда, выражало испуг и презрение одновременно.

– Шух не глядя, – говорил Киреев, спрятав обе руки за спину. Портфель и мешок со сменкой валялись у его ног, прислоненные к вымазанным глиной, маленьким, сшитым на заказ яловым сапогам – галош у него не было. В руках он мог держать что угодно: запрещенное для письма, поскольку без нажима, серо-стальное перо «рондо» или даже тоненькое чертежное; суставную телячью кость с залитым в просверленную посередине дырку свинцом – битую для игры в альчики, как по-местному назывались бабки; микроскопическую колесницу, скрученную из тонкой трансформаторной медной проволоки, с запряженной в нее посредством прокалывания спины проволочным крючочком мощной мухой, тихо жужжавшей и готовой к гонкам по парте... Словом, угадать было нельзя.

– С разменом, – на всякий случай осторожно отвечал Мишка, сжимая в левом кармане, чтобы, не дай бог, не вынуть как-нибудь нечаянно, немецкий складной ножик в серебряной чешуйчатой ручке, похожий на мелкую рыбку, вынешь – у Киреева потом обратно фиг разменяешь. В левом еще лежала немецкая лупа, а в правом болтались оловянный, немного облупленный солдат с розовым лицом под круглой зеленой каской с красной звездой и с оловянным аккуратеньким автоматом ППШ в оловянных, слишком коротких руках; серая резиновая пробка от пенициллинового пузырька, ни на что вообще-то не годная; черная лакированная трубочка без обеих, и для пера и для карандаша, пишущих вставок, но потому ценная еще

более – она уже могла использоваться только по одному, главному назначению: чтобы плевать сквозь нее жеваной промокашкой или дробленным горохом, если его принести из дому... Мишка опускал руку и в этот карман, но вытащить не спешил, чтобы как-нибудь исхитриться и открыться вторым. Киреев ждал.

– С разменом, – отвечал Мишка и вытаскивал пробку в правом кулаке, но Киреев вытаскивал из-за спины две фиги, а драться с ним уже не было времени, да и повод был не такой, чтобы рисковать прямо на крыльце, в двух метрах от окна директорского кабинета.

С Киреевым никто не дружил, а Мишка не то чтобы дружил, но все ж таки вместе построил штаб в зарослях высокой кустообразной темно-зеленой травы, заполонившей весь городок и называвшейся вениками, а другого названия никто не знал. Штаб пристроили к задней стене длинных, нарезанных на отсеки по квартирам сараев, стоявших напротив дома. Притащили большую крышку от так называемой упаковки – эти большие ящики из хороших, плотно подогнанных досок, покрашенных гладкой защитной краской, многие офицеры привозили домой для всяких домашних деревянных поделок. Внутри ящики были разделены толстыми фанерными перегородками на длинные узкие ячейки, и весь этот материал шел в дело, отец по воскресеньям, устроившись на лестничной площадке, понемногу пилил, свинчивал шурупами, и из одной упаковки получались три полки для посуды, к примеру, или для книг – голубой подписки Жюль Верна, зеленой Бальзака, темно-синей Толстого Алексея и серой, приходившей в книжный бесконечно, год за годом, Толстого Льва. Но большую крышку от одной упаковки, обитую снизу промасленной бумагой, Мишка однажды почти незаметно утащил, а Киреев помогал нести. Из нее сделали косую крышу штаба, а для подпорок с высокой стороны Киреев притаранил длинные тонкие бревнышки, заготовленные его отцом для крепления поленицы, – Киреевы жили не в кирпичном двенадцатиквартирном, а в финском доме на две семьи и топили дровами. И получился в вениках отличный штаб, так что сидеть в нем можно было не стигаясь, а по бокам Мишка с Киреевым сделали стены из половинок кирпичей, которые вечером, в синих сумерках, под дождем, украли на стройке Дома офицеров.

И поскольку у них был общий штаб, считалось, что Мишка с Киреевым дружит, хотя Мишке просто было стыдно так же гонять от себя Киреева, как другие гоняют. Киреева все называли только Киреевым, даже не Киреем и не Кирей, и он этим не огорчался, особенно глядя на Мишку, который из-за своего прозвища – Салтычиха – был вынужден постоянно драться. А Киреева все называли по фамилии, но гнали вон, потому что из его длинного клюва постоянно текло, сопли он обтирал рукой, а руку вытирал обо что попало, чаще всего об стенку, и за это каждый проходящий, даже девчонка, молча давал ему по шее. Из-за соплей он дышал открытым ртом, а изо рта у него пахло каким-то особенным противным запахом – не гнилыми зубами, а как будто сырым мясом, и поэтому тоже все его гоняли. А Мишка гнать его из-за запаха и соплей стеснялся, и они с Киреевым сидели в штабе, сначала Мишка рассказывал «80 тысяч километров под водой», которые раньше назывались «20 тысяч лье под водой», и «Таинственный остров», а потом Киреев рассказывал, как они с отцом, матерью и сестрой живут дома.

Жили они, на Мишкин взгляд, странно и даже противно.

Во всяком случае, от того, что рассказывал Киреев, Мишку подташнивало, как от запаха паровозного дыма, но он Киреева почему-то не только не прерывал, но слушал очень внимательно, молча глядя в сторону и не упуская ни слова.

Киреев рассказывал, что летом дома, когда никто их не видит, вся семья ходит голой, совершенно без одежды. Это придумала Киреева мать, работавшая – в отличие от других матерей она ходила на работу, а не сидела дома – медсестрой в солдатском госпитале. Киреева мать говорила, что тело должно дышать, а стесняться ничего не надо, потому что они родственники и все равно когда-то раньше видели друг друга голыми. Мишка вспоминал, что он иногда видел в бане, куда ходил, когда отключали воду, с отцом, и что однажды с мальчишками подсмотр-

рел сквозь мутные стекла в той же бане в женский день, балансируя на поставленном ребром ящике от китайских мороженных яблок, и его мутило, как от паровозной угольной гари. Он представлял Киреева отца, низенького пожилого старшего лейтенанта, который был в части Мишкиного отца секретчиком, с рыже-седым жестким чубом, с короткими толстыми ногами; Киреева мать, худую, высокую, широкую в кости, с обтянутыми скулами и выступающим губастым ртом; Киреева сестру, толстую, носатую и круглолицую, одно лицо с самим Киреевым, семиклассницу; самого Киреева, в конопатинах по всему телу и с соплями под носом... Он представлял, как все у них висит и болтается, его тошнило, он смотрел в сторону и внимательно слушал.

А Киреев рассказывал, как его сестру отец порет узким брючным ремнем за круглые двойки – она уж и так сидела в шестом классе два года и теперь наверняка сядет в седьмом на второй. И когда отец ее порет, привязанную бельевой веревкой к кровати и с завязанным полотенцем ртом, то у него уже не болтается, а встает и стоит, двигаясь из стороны в сторону, как пушка линкора, а мать смотрит и стонет, как будто это ее порют, а сестра один раз обмочила всю кровать, так что потом они с матерью стирали всё и тюфяк у печи сушили, а самому Кирееву было сказано, что если он в школе или вообще кому-нибудь про это рассказывать будет, то отец его просто убьет. Но Киреев вот все-таки рассказывал Мишке, и Мишка молча удивлялся не только всему рассказанному, противному, конечно, до тошноты и страшному, но и смелости Киреева, потому что уже давно понял, что за такой рассказ действительно надо убить, особенно если все правда.

Потоптавшись на школьном крыльце и поругавшись с Киреевым из-за подлого шука, Мишка пошел с ним в школу, раздеваться и менять обувь в раздевалке.

Протиснувшись среди сырых пальто – многие были сшиты из бесплатного отцовского шинельного сукна, а некоторые даже и сохраняли следы шинельного кроя – и усевшись на дальний, скрытый за одеждой подоконник, переобулись. Мишка просто поставил галоши под пальто, а мешок с чешками для физры взял с собой в класс, чтобы там перед четвертым уроком их надеть. Кроме того, мешком было удобно кого-нибудь лупить на большой перемене, хотя, конечно, в ответ можно было получить и просто портфелем с пеналом и книгами. А Киреев стащил сапоги, прямо грязные сунул в тот же мешок, в котором притащил тапочки, тапочки сразу надел поверх мятых и мокрых носков, а мешок взял с собой, чтобы сапоги, которыми он страшно задавался, в раздевалке не украли. И драться сапогами в мешке было мирово.

Тут пришла техничка Валька, очень толстая тетка лет восемнадцати. Еще в прошлом году она сама училась в школе, ходила через пустырь из села в городок, но доучилась на натянутые тройки по два года в каждом классе только до седьмого и пошла работать техничкой.

Валька просунулась между пальто и сделала мальчишкам страшную морду – оттянула указательными пальцами нижние веки, а средними, заткнув их в ноздри, задрала нос.

– Дура, – сказал ей Киреев и попытался схватить за огромные шары груди. – Лучше дай за буфера подержать.

Девушка открытой ладонью молча щелкнула Киреева по стриженному под ноль затылку, так что звон пошел по раздевалке, и снова сделала морду, внимательно глядя на Мишку. Мишка пожал плечами и усмехнулся.

– Ты, Валька, правда дура, – сказал он с некоторой натугой, потому что, во-первых, он стеснялся так говорить старшим, даже действительно известной дуре Вальке-техничке, и, во-вторых, опасался, что она и ему навешает. – Ты лучше пальто стереги и галоши.

Мальчишки протиснулись между вешалкой и Валькой, причем Киреев схватил-таки ее за буфера, и побежали в буфет за компотом и слойками.

В буфете уже было много первоклассников, а среди них возвышались Надька и Нина.

Надька, как всегда, смотрела в пол, косо наклонив голову. Синие фурункулы на ее щеках переливались в утреннем сером свете из высоких окон, в глубоких ямах от заживших нарывов

лежали тени – или, может, там уже скопилась черная грязь для новых воспалений. Нина, как бы никого не видя, оглядывалась по сторонам, ее желтая толстая и короткая коса при этом ползала по коричневой спине форменного платья, перекрещенной черными широкими лямками фартука, а в желтых глазах блестели искривленные отражения окон – как в стекле. Киреев и Мишка, растолкав малышню, как положено шестиклассникам, встали рядом с девчонками, немного сбоку и впереди, чтобы было видно, что они, конечно, влезли без очереди, но чтобы девчонки не очень обиделись и могли взять слойки и компот первыми. Никто ни с кем, естественно, не здоровался, но Мишке показалось, что все – и Надька, понятно, и Киреев, от которого вообще не спрячешься, и даже первоклассники – стали смотреть на них с Ниной, заметив, как она не смотрит на него, старательно скользя глазами по голубой масляной краске стен, по сизо-белой, в трещинах побелке потолка, по светлым окнам, и как он не смотрит на нее, вытягивая шею и заглядывая за прилавок, где в большом чане громоздились оранжево-коричневые, облепленные сахарным песком слойки и колыхался в огромном ведре с краном внизу зеленовато-соломенный компот, в котором плавали лодочки разваренной кураги.

Вчера вечером Мишка гулял с Ниной до половины десятого и едва избежал скандала дома.

Они долго молча ходили в сизых сумерках, когда видно хуже, чем в полной темноте, вокруг строящегося много лет Дома офицеров, вернее, вокруг кирпичных штабелей и гигантской лужи, вечно стоящей в яме фундамента. По этой луже в апреле, когда она растаяла, мальчишки плавали на плотках – приспособленных для этого больших дверях, валявшихся обычно за кирпичами, и Генка Бойко с Толькой Оганяном перевернулись, Мишка с Киреевым вытаскивали их досками и вытащили, Генка и Толька тряслись, пальто их сразу замерзли и встали колом, а они боялись идти домой, попросились в вагончик-коломбину к солдатам-строителям, там разделись и сохли возле железной печки-бочки, а сержант, высокий тощий узбек, смотрел на них, смеялся так, что слезы текли по его черным щекам, и все повторял: «Дюраки, дюраки, мать жёпы бить будет». Сначала Мишка с Ниной ходили вокруг стройки, а когда совсем стемнело и над лужей зажегся большой прожектор, пошли к финским домам, гуляли там между дворами, собаки заходились лаем, а Мишка рассказывал Нине содержание ужасно толстой книги испанского писателя Сервантеса де Сааведры «Дон Кихот», которую только что прочел. Книгу мать взяла в гарнизонной библиотеке, в которой два черных с золотыми надписями тома, напечатанных очень давно, еще до революции, с непонятными буквами и твердыми знаками в конце почти всех слов, оказались неизвестным образом. Мишка быстро научился читать по-дореволюционному и прочел этого «Дон Кихота» меньше чем за месяц. Теперь он пытался рассказать Нине, о чем книга, но получалось плохо, как-то глупо, как будто какой-нибудь «Айвенго» – про рыцарей, и все, хотя «Дон Кихот» был, конечно, не только про рыцарей, но при пересказе все это куда-то делось. Так что в конце концов Нина сказала, что уже запуталась, действительно любил этот Донкий Ход свою Дульсинею или просто сошел с ума, поэтому книгу читать не будет, пусть Мишка ее завтра не приносит. Тут стало совсем холодно, и Мишка с Ниной зашли в тот дом рядом с Нининым, где было ателье мод, в котором шили офицерам шинели, кителя и бриджи, а офицерским женам – жакеты три четверти из серого парадного генеральского габардина с чернобуркой и прямые юбки из синих, сэкономленных мужьями отрезков на бриджи. Ателье уже было, конечно, закрыто, поэтому в подъезде было пусто. Нина встала спиной к батарее, греться, а Мишка молча – и Нина почти не сопротивлялась – засунул руки, как будто греть, под ее пальто, немного расстегнув его, а потом расстегнул и платье под фартуком и засунул руки туда, откуда дышало горячим и шел еле чувствовался запах мыла, где все двигалось и скользило гладким по ладоням, и тонкие волоски – у Мишки недавно тоже набухла грудь и начали расти волосы под мышками – шевелились между пальцами. Нина молча стащила берет, ухватив его за хвостик, и рукою с беретом обняла

Мишку поверх пальто, а Мишкины руки были заняты, поэтому прижиматься было неудобно, но они все равно стали целоваться, крепко прикладывая зубы к зубам.

Теперь Мишка с Ниной не разговаривал, а громко разговаривал с Киреевым, который не выучил ничего по истории, и Мишка быстро ему рассказывал о Кондрате Булавине и Иване Болотникове. Они взяли компот и слойки и сели за зеленые фанерные столы на некрашенные фанерные стулья на железных ногах, продолжая громко разговаривать, так что девчонкам за соседним столом все было слышно. Вокруг носились и визжали первоклассники, а Мишка все рассказывал о крестьянских восстаниях и казацких бунтах, Нина пила компот и все крутила головой, глядя поверх предметов, Надька косо смотрела в пол, стараясь незаметно ковырять нарыв на подбородке, Киреев жевал, чавкал слойкой, компот, шмурыгая, тянул вместе с соплями и вдруг тихо перебил Мишку.

– А я чего узнал про вас, – сказал Киреев и посмотрел на Мишку с обычным своим выражением испуга, смешанного с презрением.

– Про кого про нас? – с оборвавшимся сердцем спросил Мишка, решив, что вчера Киреев подсмотрел, как они входили или выходили из подъезда, а то мог и в подъезд заглянуть, от него всего можно ждать. – Чего узнал? Ну, говори, а то фиг с два дальше историю расскажу...

Но тут зазвенел звонок, все стали быстро допивать и дожевывать, а на первом уроке был русский, изложение, и так Киреев ничего и не сказал до самой географии.

Глава вторая. Уроки

Географичка Фаина Абдуловна, как и в прошлом году, ходила с большим животом, и было понятно, что до конца года она опять уйдет в отпуск рожать ребенка, а заменять ее будет кто попало – директор Роман Михайлович, историчка Нина Семеновна или даже Мирра Григорьевна, русский – жопа узкий. Поэтому учить географию и даже просто слушать на уроках не имело никакого смысла, оценки по ней в последней четверти и за год ставили среднетабельные, Мишка все равно получит пятерку, а Киреев – тройку, экзамена же по географии не предполагалось аж до девятого класса. И поэтому на уроках у Фаины, про которую совершенно бесспорный третьегодник Вовка Сарайкин в мальчишеской уборной написал «Хуина Надутовна» и еще нарисовал глупость, хотя Фаина никому ничего плохого не сделала, только кричала и ругалась, – на уроках у нее все делали, что хотели.

Мишка с Киреевым сидели на четвертой парте у окна. Вообще-то Мишка должен был бы сидеть на первой, и скорей всего с Надькой, как два классных отличника, но Мишка еще в начале года решительно взбунтовался, мать не особенно настаивала, хотя Киреева, естественно, не любила, а Нину Семеновну, историчку и классного руководителя, Киреев как-то упросил, и теперь они сидели на четвертой, самой лучшей парте в ряду у окон, четвертая была как раз рядом с подоконником, под которым у них был удобный склад в глубокой щели между доской и стеной, толщиной с общую тетрадку. В складе этом можно было держать и запас перышек в бумажке, и проволоку тонкую в моточке, и даже что-нибудь еще более ценное, потому что снаружи щель затыкалась обломком покрашенной голубым штукатурки от этой же стены, так что фиг с два догадаешься, что здесь склад.

– Вчера папка матери рассказывал ночью, – шептал Киреев, глядя прямо перед собой и не шевеля губами, так что Фаина с ее Среднерусской возвышенностью никак не могла ни услышать, ни увидеть ничего, – сначала пыхтели, мне надоело слушать, я и заснул, а потом папка стал рассказывать, я проснулся и все слушал... Про вас. Так все время и говорил: «От Салтыковых теперь подальше держись». Мать обещала мне сказать, чтоб я от тебя отсел, а утром Ольку ругать стала, чтоб посуду помыла, и про меня забыла, а я сразу решил тебе рассказать...

– Что рассказать? – Мишка заорал шепотом, так же неподвижно глядя перед собой. – Что рассказать, что ты брешь все, Кирей? Чего это твой отец ночью про нас говорить стал?

– А того... – Киреев быстро смахнул соплю, вытер руку об стенку и незаметно для себя зашептал громче, так что с третьей парты оглянулась Инка Оганян, Толькина сестра, а Фаина замолчала про каналы и истоки и посмотрела на Киреева с Мишкой, и Киреев сразу заткнулся и сделал внимательное лицо, но, переждав минуту, продолжал еле слышно: – Того, что дядя Коля Носов сдал отцу секретное письмо, а отец его прочел, а в письме написано, что вы, Салтыковы, еврейские шпионы, особенно мать, а вы не заявили про это дяде Коле Носову, поэтому скоро вам будет амбец, а тебя, наверное, отправят в малолетнюю колонию...

В Мишкиной голове все взорвалось и понеслось с криком, как иногда бывало, когда он сидел в комнате один, ел рафинад и учил уроки или просто читал книжку, а в голове начинался крик, как будто там была целая толпа, и все чего-то кричали, не поймешь что, и Мишка не мог этого выносить, вскакивал и начинал бегать по комнате, крик понемногу стихал, но сейчас Мишка не мог встать и начать бегать, он только незаметно под партой пнул Киреева ногой.

– Быстро говори все, Кирей, – прошептал Мишка страшным шепотом, уже не обращая внимания на Фаину, – а то на перемене я тебе так навешаю! Говори...

Однако ничего сказать Киреев уже не успел, потому что ударил электрический звонок и Фаина, так и не успев закончить про то, откуда вытекает Волга, пошла быстро из класса, едва не забыв журнал, держась одной рукой за толстый живот, а другой, с платком, зажимая рот. Все, конечно, тут же повскакали, начали драться и кидаться чем попало, постепенно выпира-

ясь из класса под крики дежурных, потому что наступила большая перемена и из класса всем положено было выйти.

Но Мишка с Киреевым послали дежурных подальше да еще пригрозили, если будут закупаться, мел в чернила сунуть, и остались в классе. Дежурные принесли из девчачьей уборной ведро коричневой воды, заперли дверь изнутри, косо заложив ножку учительского стула в ручку, и принялись возить по полу большой тяжелой тряпкой на палке. А Мишка с Киреевым сели на крышку парты, чтобы не мешать уборке, и тут уж Киреев дошептал Мишке все.

Он признался, что все слова, конечно, не расслышал, но отец часто повторял фамилию Салтыковых и слово «еврей», потом Киреев услышал целую фразу и запомнил ее дословно, фраза была такая: «Кольке Носову прислали письмо, а он, пока не решил, бумагу мне под номером сдал». Потом Киреев отец опять говорил тихо и неразборчиво, только было слышно про какого-то Кузьму, который не то уже что-то сжег, не то собирается сжечь, из чего Киреев сделал вывод, что Кузьмины, дочь которых Виолетка, или просто Ветка, Кузьмина училась в шестом «Б» и была известна своими огромными даже для десятиклассницы буферами, за которые ее таскали все кому не лень, а она только улыбалась, как дура, эти Кузьмины тоже евреи и шпионы, а может, и диверсанты, раз собираются сжечь скорей всего большой штаб, желтый трехэтажный дом с белыми колоннами и двумя солдатами с автоматами «ака» у входа, стоявший на центральной площади городка, напротив проходной завода, а откуда Киреев вообще взял про шпионов, он не знал, но был уверен, что речь идет именно о настоящем шпионстве, потому что все знали, что майор дядя Коля Носов, высокий, очень худой и бледный мужчина со светлыми длинными волосами, вылезавшими сзади из-под фуражки, именно ловит шпионов, которых засылают американцы, а они стараются пройти на завод или в большой штаб и что-нибудь там разведать или просто взорвать, и раз дядя Коля Носов заинтересовался Салтыковыми и Кузьмиными, то они, конечно, шпионы, только не американские, а еврейские, наверное, потому что отец Киреева все время говорил о евреях и несколько раз вспомнил Мишкину мать, которая, конечно, точно еврейка, а дома, когда читает или шьет, даже надевает очки.

– Я бы на твоём месте, Мишка, – вздохнул Киреев, рассказав все, – из дому бы лучше убежал, а потом тебя нашла бы милиция и отдали бы в суворовское или даже в нахимовское.

Ответить на это Мишка ничего не успел, потому что от бесконечных дерганий из дверной ручки с грохотом вылетел стул, дверь распахнулась, с ревом в класс влетел весь шестой «А», тут же загредел звонок, вошла Нина Семеновна и началась история. Несчастного Киреева, конечно, вызвали первым, он, все еще переживавший свой рассказ, то, что успел услышать от Мишки, забыл начисто, Болотникова назвал Болотиным, Булавина вообще не вспомнил и получил пару, потом Надька все отбубнила, как по книжке, и получила «петуха», потом Нина Семеновна стала рассказывать про Юрьев день, и Мишка как-то отвлёкся от ужасных новостей. А после короткой перемены Нина Семеновна не ушла и начался классный час на тему «Кем быть», и Мишка совсем забыл о рассказе Киреева, потому что, пока все вставали и говорили, что хотят быть летчиками, врачами и инженерами по танкам, он задумался, кем действительно стоит быть.

Конечно, ему очень нравилась морская черная, а особенно летняя белая форма, в которой он видел морских офицеров, когда летом они всей семьей ездили отдыхать в Сочи. Отец жил в военном санатории, они с матерью снимали комнату у сестры-хозяйки, мать ходила в цветастом крепдешиновом комбинезоне и босоножках на пробке. Мишка – в черных трусах, чешках с обвязанными вокруг щиколоток шнурками и в тюбетейке, отец – в казенной белой полотняной куртке и белой панаме, а вечером на набережной и в ресторане «Украина», куда они иногда ходили обедать вместе с отцом, прогуливающим санаторский обед, они видели морских офицеров в белых кителях со стоячими воротниками, белых наглаженных брюках, белых парусиновых туфлях, начищенных зубным порошком до легкой голубизны, кортики болтались

параллельно земле у белых брючных колен, крабы и дубовые листья вспыхивали темным золотом на фуражке в белом чехле. И Мишка обмирал.

Но возвращались из Сочи домой, начиналась школа, шли дожди, и Мишка понимал, что, конечно, моряком ему ни за что не стать. Потому что попасть в нахимовское шанс был только у сирот или генеральских сыновей, минимум полковничьих, а просто после школы в высшее училище тем более не поступишь.

Поэтому Мишка все чаще задумывался о другой судьбе. В этих мыслях он видел себя обязательно в Москве, идущим домой с работы.

На Мишке голубовато-серый костюм из материи со странным названием «метро», непонятно, какое отношение имеющей к настоящему метро, которое Мишка тоже вспоминал, бронзовых людей на «Площади Революции» и стальные рифленые колонны на «Маяковской», но все перебивала картинка возвращения взрослого Мишки с работы домой. Голубоватый костюм просторно болтается на худом и высоком Мишке, брюки сминаются мягкими складками, ложась на серые летние туфли с желтым рантом, а на голове косо сидит серая мягкая шляпа из тонкого легкого фетра, с голубой широкой репсовой лентой. В одной руке Мишка несет большой портфель из свиной желтой кожи, тисненной под крокодила, застегнутый большим квадратным медным замком, перетянутый ремнями, с прибитым близко к верхнему краю крышки косым зеленовато-серебряным ромбиком с загнутым уголком, а на ромбике выцарапано гравером: «Михаилу Леонидовичу Салтыкову от друзей и сослуживцев». Портфель раздутый и тяжелый, поэтому Мишка идет, перекосившись в одну сторону и слегка даже балансируя другой рукой. А в другой руке он несет квадратную картонную коробку с нарисованной розой на крышке, перевязанную бумажным шпагатом крест-накрест, дно коробки, которую Мишка держит, просунув указательный палец под перекрестие шпагата, слегка провисает. В портфеле большие книги с шершавыми цветными картинками под папиросной бумагой, узкие длинные деревянные коробочки с мелкими стальными отвертками и молоточками – инструментом, а еще конфеты «Ассорти» с оленем, бутылка вина «Шато-икем» и в двух слоях коричневой бумаги, из которых уже и верхний начинает промасливаться, языковая колбаса с шашечками печенки и жира на срезе, от которой уже весь портфель полон елисеевским запахом. А в коробке лежит мороженный торт.

И сейчас Мишка придет домой – свернет в переулок, а мальчик будет смотреть сверху, осторожно, пока никто из взрослых не видит, высунувшись в открытое окно пятого этажа, а Мишка войдет в сырой подъезд и начнет, немного пыхтя, подниматься по лестнице, потому что на четвертом кто-то бросил лифт незакрытым, а наверху уже щелкнет замок и откроется дверь, и мальчик будет его ждать на площадке, возьмет из руки торт и понесет в столовую, поставит посреди стола, и начнется вечер.

Так все уже было, когда отец после войны учился в академии и они жили в семье дядьки, материного брата дяди Пети. Дядя Петя возвращался с работы, шел пешком с Арбата, делая крюк через Горького, пересекал Тверские-Ямские и входил в их переулок, а Мишка ждал его, стоя вопреки строжайшим запретам матери и тети Ады на стуле и осторожно выглядывая из открытого окна.

И теперь Мишка хотел быть дядей Петей, на которого, как считала мать, он был и похож, а особенно стал похож теперь, за лето перед шестым классом вытянувшись и начав поэтому сутулиться.

Кем дядя Петя работает, Мишка точно не знал, только слышал, что он заведующий, но это и не имело значения, потому что Мишка не каким-то заведующим хотел быть, а просто идти домой с работы в голубовато-сером костюме и нести мороженный торт.

Конечно, Мишка понимал, что лучше было бы, если уж не получится моряком, стать летчиком, летать именно на реактивном самолете с отведенными назад острыми крыльями, получая за каждый полет здоровенный кусок весового шоколада, носить в петлицах маленькие

золотые пропеллеры, зимой надевать короткую кожаную куртку с большим меховым воротником и с гордой усмешкой повторять шутку: «Где начинается авиация, там кончается порядок». Или, на худой конец, ехать где-нибудь на танке Т-34 или даже КВ, вылезши по пояс из люка, сверкая грязным лицом из-под шлема с валиками и глядя сверху, как медленно ходит из стороны в сторону ствол пушки, жмутся подальше от его наезжающего черного жерла какие-то знакомые мальчишки на тротуарах и бледнеет Нина Семеновна, вспоминая, как ставила Мишке четверки и даже тройки со словами: «Кому много дано, с того много и спросится, а кому легко дается, тому надо больше трудиться». Конечно, любая из этих профессий была бы тоже хороша, но очки, очки маячили перед нерезким Мишкиным взором, и он, мечтая, не переставал помнить про свою близорукость, черт бы ее побрал, и все чаще вспоминал про костюм из ткани «метро» и мороженный торт.

При этом про самого дядю Петю он почти не вспоминал, как и про тетю Аду, и про двоюродную сестру Марту, которую он, хотя она была старше и уже на следующий год должна была закончить с золотой медалью – в этом никто не сомневался – десятый класс, дразнил «кузей», потому что кузина, и «мартышкой», потому что Марта, но она не обижалась и иногда брала его с собой гулять, они шли по улице Горького к центру, и все оборачивались вслед. Мишка знал, что это означает: про Марту дома все, когда ее не было, говорили «красавица», хотя сам Мишка не понимал, что красивого в ее огромных черных глазах, вздернутом носе с чуть приплюснутым, как ежиный пяточок, кончиком и высокой, тонкой, все время как бы колеблющейся, словно в окружающем ее жарком мареве, фигуре – ростом она была почти с Мишкиного отца. Они шли к центру и сворачивали в переулок направо, где ТЮЗ, и переулками выходили к большому дому недалеко от пруда, там Марта отпускала Мишку на час поиграть во дворе с местными мальчишками, а сама скрывалась на этот час в темном и прохладном подъезде, и лифт немедленно начинал двигаться вверх в стеклянной, пристроенной к стене снаружи шахте, останавливался на последнем этаже. Никто с Мишкой, конечно, не играл, хорошо хоть, что не набили ни разу, «пусть сеструху ждет, она к Робке пришла». Мишка сидел в углу двора, за деревянным ларем, и наводил солнце через складную американскую увеличилку, подаренную дядей Петей, на щепку, и на щепке появлялся черный выжженный червячок «Миша». Потом, часа через полтора, Марта выбегала из подъезда, на мгновение прижимала Мишкину голову к огненно горячему через платье бедру, и они бегом неслись домой, и по дороге Марта напоминала ему, что ходили они в зоопарк, куда однажды она Мишку действительно водила. Дома уже был крик, приятно пахло валерьяновыми каплями, тетя Ада уже трижды бегала к «Белорусскому» метро встречать, «куда тебя черт носил с ребенком», кричала она, а однажды крик поднялся совсем ужасный, дядя Петя как раз был почему-то днем дома, Мишку мать увела в другую комнату, а из дядино кабинета, где кричали, донеслось несколько раз «этот Роберт», и Мишка почему-то вдруг сообразил, что тот Робка – это знаменитый футболист Роберт Колотилин из «Торпедо», вот кто, но тут раздались почти одновременно резкий шлепок и короткий вскрик, и Марта вылетела из кабинета с наливающимися красным пятнами на правой щеке, пронеслась в переднюю и хлопнула дверью так, что зашуршала по косяку штукатурка, а дядя Петя в кабинете уже кричал в телефон адрес, и через полчаса к тете Аде приехала карета скорой помощи, тетя лежала на большом кожаном диване в столовой, а на ее лбу лежало мокрое полотенце, и врач перетягивал ее руку черным резиновым шнуром.

Случилось это недавно, прошедшим летом, когда по дороге из Сочи они опять останавливались в Москве, но теперь Мишка об этом вспоминал нечасто, а когда в последний раз вспомнил и спросил мать, поедут ли они и на следующее лето «к Малкиным на Третью Ямскую», это были фамилия и адрес дяди Пети, тети Ады и Марты, так их всегда и называли в Мишкиной семье, мать посмотрела на Мишку, помолчала, а потом, так ничего и не ответив, отвернулась и пошла на кухню. Мишка пошел за ней следом и увидел, что она стоит у плиты, внимательно

смотрит в кастрюлю с варящимся фасолевым супом, мешает его половником, а в суп при этом капают ее слезы.

Казалось бы, после этого Мишка должен был заинтересоваться, почему мать плачет при упоминании Малкиных, попробовать узнать что-нибудь у отца или какими-нибудь окольными путями выведать все же у матери, но он почему-то, наоборот, про них как-то забыл, хотя себя в дядином костюме и с мороженым тортом представлял все чаще. А вокруг Малкиных в его голове как будто возник волшебный круг или их прикрыла шапка-невидимка, и он совсем не вспоминал эту семью, где прожил столько времени – два года, пока отец заканчивал ускоренный курс артиллерийской академии имени Дзержинского, после которой не стал, к Мишкиному удивлению, никаким артиллеристом, а стал носить на погонах и петлицах инженерские молоточки, и еще каждое лето по дороге в Сочи или на Рижское взморье, или на обратном пути недели по две, поскольку отпуск у отца был большой, сорок пять суток без дороги. Но теперь и дядя Петя, и тетя Ада, и Марта из Мишкиных мыслей совершенно исчезли. И он не удивлялся, что они исчезли и из разговоров матери с отцом, и из почтового ящика, из которого раньше время от времени вынималось письмо, на котором высокими и узкими буквами тетиного почерка был написан странный адрес: «Москва-350, ул. Маркса, д. 12, кв. 5, Салтыковым», – хотя село, возле которого был выстроен лагерь с заводом и военным городком при нем, где они жили, называлось Заячья Падь и до Москвы от него было три тысячи километров. Но Мишка уже давно таким вещам не удивлялся, привыкнув к словам «военная тайна» едва ли не с тех пор, как сам начал говорить.

Кем же я буду, подумал Мишка, прогоняя видение человека в очках и просторном костюме, с мороженым тортом в одной руке и портфелем в другой, я же не хочу быть заведующим (но и тут как-то не вспомнив дядю Петю, который именно заведующим и был), кем же я хочу быть?

И конечно, тут его класрук Нина Семеновна и подняла.

– Вот Салтыков там мечтает, пусть он теперь выступит на тему классного часа. Какая тема, Салтыков? Встань, я к тебе обращаюсь.

Мишка тянул время, с грохотом откидывал крышку парты, которая ему была действительно очень мала, выпрастываясь из нее...

– Тема классного часа, Нина Семеновна, – начал он полным ответом, как и положено отличнику, – называется... называется... «Кем быть», правильно?

Нина Семеновна молчала, глядя на Мишку. Он знал, что классный руководитель его не любит, хотя он был единственный в классе отличник-мальчишка. Но Нина Семеновна считала, что ему все слишком легко дается, а таких людей она не любила вообще – не только учеников, но и взрослых. Она закончила учительский четырехлетний институт, много лет учила младшие классы, потом заочно выучилась на историка в областном педагогическом и не уважала тех, кому все доставалось сразу. Она и замуж за старшину-сверхсрочника из хозроты вышла только пять лет назад, детей у них не было, и квартиру в городке они не получили, а снимали полдома в селе и держали поросенка и курей. И теперь Нина Семеновна молчала, глядя на Мишку, а он вспоминал, как однажды историчка разговаривала с матерью, встретив ее в воскресенье по дороге в продуктовый, Мишка отирался рядом с пустой пока материной клеенчатой кошелкой в руках, а мать вдруг, уж Мишка не помнил к чему, сказала учительнице своим обычным удивленным тоном: «Но, Нина Семеновна, позвольте, у Ключевского написано...» – и Нина Семеновна сразу перебила ее: «А в наших вузах историю не по Ключевскому учат», – повернулась и пошла к себе в село, под гору, неся в каждой руке по сплетенной из цветной проволочной изоляции авоське с хлебными буханками.

– На вопрос, кем быть, Нина Семеновна, – продолжил Мишка напирать на полноту предложений, – советские школьники отвечают, помня, что любой труд в нашей стране почетен,

Нина Семеновна, и еще что надо быть, а не казаться. Можно стать моряком, летчиком, танкистом... инженером...

Тут он запнулся и замолчал, потому что не мог вспомнить больше ни одной профессии, хоть убей, а Нина Семеновна все молчала и смотрела. «Гидро!» – прошипела подсказку, не оборачиваясь, Надька. Нина, как всегда в школе, на Мишку не смотрела и делала вид, что и не слушает.

– ...строителем гидроэлектростанций, – сообразил Мишка и уже легче поехал дальше, – гидромелиоратором...

– А ты знаешь, – перебила его Нина Семеновна, – чем, например, занимается гидро... мелератор?

– Гидромелиоратор, – радостно затарахтел Мишка, повторив и тем невольно подчеркнув правильное произношение, довольный, что беседа, кажется, идет к концу, – осушивает... осушает болота, чтобы на этом месте построить дома или, допустим, посадить какие-нибудь полезные растения...

– Хорошо, – опять перебила его Нина Семеновна, – а ты сам кем хочешь быть?

Что произошло с Мишкой, он и сам потом понять не мог, но голубовато-серый костюм и мороженный торт мгновенно мелькнули перед его глазами, и он ляпнул – «как в лужу пёрнул», сказал после уроков Киреев.

– Заведующим, – ляпнул Мишка, замолчал на секунду и уже в хохоте, в визгах «следующий – кричит заведующий!», в грохоте и кошмаре поправился, уточнил: – Ну, этим... заводством, кажется, – вспомнив, к счастью, как называются отцовские подчиненные лейтенанты.

Но было, конечно, уже поздно. Класс бушевал. Володька Сарайкин под шумок лапал Инку Оганян, и она почти не отбивалась, Толька Оганян с Генкой Бойко дрались книжками, и сухие щелчки переплетов по головам прорывались сквозь общий шум, Надька уже, как обычно, плакала, а Нина сидела, наклонив голову и зажав уши руками. Звонок ничего не прекратил – наоборот, бесчинство возросло и достигло невообразимого. Вовка Сарайкин швырнул в доску мелом, который раскрошился и засыпал все белыми обломками, дружок и вечный соперник Сарайкина спортсмен Эдька Осовцов сделал стойку на руках и так, вверх ногами, вышел на середину класса, а Нина Семеновна незаметно исчезла, как она всегда исчезала, когда класс начинал чуметь, чтобы вернуться с директором Романом Михайловичем и собрать дневники для вызова родителей, – словом, ужас.

В этом ужасе Мишка пробрался к дверям и сбежал.

А через минуту, сам не помня как, оказался на школьном дворе, за недостроенной теплицей, с раскрытым портфелем в руке. Верный Киреев был рядом. Они достали из ниши в тепличной опоре, выдвинув легко выдвинувшийся кирпич, мятую сиреневую пачку тонких папирос «Любительские» и спички в обчирканной коробке и закурили. Курили молча, пока не закружилась голова и не стало все безразлично. Потом Киреев, угадав, заговорил о главном.

– Отец раза три сказал, что Кузьма палит, а какой Кузьма, не сказал, а у нас же других нет, только Кузьмины, – рассуждал Киреев, и Мишка не мог с ним не согласиться, – значит, Кузьмины – тоже шпионы, скажешь, нет?

Мишка оценил сочувствие Киреева, ведь, говоря сейчас о Кузьминых, он хотел утешить Мишу тем, что не у одного того родители шпионы. Мишка проглотил дым, откашлялся и продышался.

– Мать не шпионка, – сказал он, и слезы поползли по щекам, при Кирееве он даже не очень стеснялся, и Киреев, следует отдать ему должное, сделал вид, что не заметил Мишкиных слез. – Она книги подписные в военторге книжном покупает, а другие в библиотеке берет, никакие они не шпионские, я тоже читаю, там ничего шпионского нет...

И тут он замолчал, потому что потерял уверенность в том, что говорил. Он подумал, что вполне могли некоторые из читанных матерью, да и им самим книг оказаться шпионскими, а почему – это не сразу и догадаешься, на то и шпионство, чтобы дурить таких утративших бдительность, как мать и он сам. Тем более что по радио говорили про утративших бдительность, среди которых были, очевидно, взрослые и умные люди, профессора и даже орденосцы, а они уж, наверное, раньше были побдительней Мишки с матерью – и то утратили.

От курения кружилась голова и во рту сделалось противно, Мишка и Киреев долго плевались густыми длинными слюнями, сгибаясь пополам и мотая головами, чтобы липкую слюнявую вожжу оборвать. Потом сели рядом на посеревшие доски, которые зачем-то были сложены штабелем в недостроенной теплице, и задумались.

– Отец еще чего-то говорил о вас, – сказал Киреев, подумав, – только совсем тихо, и я не понял. Чего-то про фамилию... Вроде у вас фамилия Салтыковы не настоящая, что ли, а настоящая – шпионская и еврейская. И опять чего-то про Кузьму, только как будто не про Кузьминых, а как будто про вас...

Мишка слушал его уже невнимательно, понимая, что и половины того, что Киреев сейчас рассказывает, он не подслушал, а сам придумал по обрывкам слов, шелестевших в душевной темноте общей киреевской спальни, и по книге «Тайна профессора Бураго», которую сам Мишка привез из Москвы, а потом давал всему классу читать, в том числе и Кирееву. Книга эта выходила тонкими брошюрками-выпусками, последних выпусков у Мишки не было, потому что то ли Марта их потеряла, то ли они вообще так и не вышли, поэтому никто не знал точно, чем кончились поиски шпиона, который все подбирался к профессору Бураго, но там все как раз было: и профессор, утративший бдительность, вроде тех, о которых говорили по радио, и шпион с разными фамилиями, и опытный следователь МГБ Найденов, который должен был обязательно найти шпиона по шраму от трехгранного штыка на спине.

И тут Мишке опять стало плохо, потому что он вспомнил шрам на отцовской спине, сантиметров на пять ниже правой лопатки, и хотя шрам был не трехгранный, а узкий и кривой, и было известно, что он остался от осколка, попавшего в отца, когда немцы бомбили его инженерную роту, строившую под Житомиром дорогу для танков, и отец потом лежал в госпитале в Калинин, а мать ездила его навещать, а Мишку оставляли Малкиным, и его нянчила Марта, сама еще маленькая, и отец иногда вспоминал Калинин и приезд матери, и всегда почему-то с усмешкой, несмотря на все это, Мишке стало плохо, как будто он опять накурился, затошнило и кружилась голова, потому что просто так все не могло совпасть: шрам, другая фамилия, материна любовь к чтению книг, среди которых вполне могли быть шпионские или, во всяком случае, враждебно настроенные... И Мишка почему-то вспомнил «Дон Кихота», изданного до революции с твердыми знаками и другими старыми буквами.

– Пошли, Кирей, – сказал он, называя Киреева в благодарность за предупреждение и сочувствие не полной фамилией, вставая с досок и вытирая жестким рукавом пальто нос и глаза. Жизнь, еще утром, до встречи с Киреевым, такая нормальная и даже, можно сказать, мировая, рухнула и придавила Мишкины плечи, так что он сгорбился и тащил так и не закрытый портфель почти по земле, а веревку, стягивающую мешок со сменкой, перекинул через плечо, как бурлак. – Пошли, Кирей, уроки давно кончились, меня мать искать будет.

Действительно, школьный двор был пуст, а из окон доносился бубнеж – шли уроки второй смены. приятели вышли из двора на скучную и такую же пустую улицу. Холодный ветер конца октября нес свернувшиеся и уже потемневшие листья, опавшие с кленов и акаций, на центральной улице Ленина эти листья сбивались в мокрые грязные комки в маленьких лужах у тротуарного бордюра. Шли молча, молча же пинали попавшийся по дороге небольшой обрезок автомобильной крыши, очевидно, кем-то из сельских использовавшийся в качестве привязанной веревкой к прохудившейся обуви галоши, но потерянный. Молча прошли квартал финских домов, где жил Киреев, молча подошли к Мишкиному двору. И во дворе было пусто.

Ледяное октябрьское солнце и прозрачное, но с чернотой предснежное небо освещали пустой двор, пожухшие еще в августовскую жару веники и ряд сараев, за которым был их давно заброшенный штаб.

– Пойдем? – предложил Киреев, имея в виду пойти сидеть в штабе.

Мишка так и знал, что он предложит, и твердо решил сразу отказаться. Дело было не только в том, что мать действительно могла начать искать Мишку и даже пойти в школу. С некоторых пор Мишка вообще избегал сидеть в штабе с Киреевым, потому там и началось запустение, высыпались некоторые кирпичи из стен, а крыша из упаковки покосилась и съехала косо набок. Сначала, сразу после каникул, когда Мишка вернулся из Сочи и Москвы, они с Киреевым продолжали, как весной, сидеть в штабе, но вскоре произошло то, из-за чего теперь Мишка не только в штабе, но и в недостроенной теплице за школой оставаться вдвоем с Киреевым избегал, за исключением таких случаев, как сегодня, когда после уроков надо было поговорить в теплице, но в штаб идти Мишка все равно не хотел. Потому что помнил, как однажды в сентябре Киреев в тесноте штаба как-то извернулся, пихнул Мишку плечом и, мерно двигаясь всем телом и дергая напряженной – Мишка почувствовал боком – левой рукой, показал покрасневшими светлыми глазами вниз: «Смотри, Миха...» Последствия увиденного тогда Мишкой были ужасными, о них ни в коем случае нельзя было думать днем, а ночью не думать было невозможно. Мишка за это Киреева почти возненавидел, но потом прошло, потому что дружили они давно и Мишка к Кирееву привык, ничего не поделаешь, да и не был во всем этом один Киреев виноват, это Мишка в глубине души признавал, и они продолжали сидеть за одной партией и ходить вместе в школу и обратно, но уж только не в штаб!

– Никуда я не пойду, Кирей, – сказал Мишка, – потому что мать...

И тут же ее и увидел.

Мать каким-то образом мгновенно оказалась стоящей посередине двора, между сараями и трансформаторной будкой, и вид у нее, конечно, был такой, что Мишке сразу стало стыдно. Она была без очков, поэтому щурилась еще более презрительно, чем обычно. Нарядилась же она, как всегда, на смех городку: белые сухумские босоножки на пробке, черные чулки с пяткой, жемчужно-серое крепдешинное платье в мелкую белую веточку с юбкой-солнцем почти до щиколотки и серый жакет-букле три четверти с широкими рукавами – поверх летнего платья для тепла. По своей близорукости мальчиков она, естественно, не видела, но то ли тени какие-то мелькнули перед ее вишнево-кариими круглыми глазами, то ли почувствовала – мать полувопросительно окликнула: «Мишенька?» и еще сильнее прищурилась.

И на Мишку снова все накатило – еврейка, шпионы, другая фамилия и малолетняя колония, и, уже слизывая покотившиеся снова рядом с носом слезы, он побежал к матери.

Глава третья. Праздник

Отец с утра был на торжественном построении. На площади между недостроенным Домом офицеров и большим штабом дня за два до праздника сколотили из желтых досок высокую трибуну с лестницей сзади и низкими крыльями по обеим сторонам и обтянули ее красным полотном, часто закрепив его мелкими гвоздями. Пришел вольнонаемный художник в бархатных рубчатых штанах, длинной блузе из сизой чертовой кожи и мятой зеленой велюровой шляпе, принес ведро белил, кисти – узкую для контура и широкую для мазка, шнур – отбивать горизонталь. На полотне, прикрывающем левое крыло, он быстро, всего за полчаса, написал «Слава товарищу Сталину!», а на прикрывающем правое – «Слава народу-победителю!». После этого трибуна два дня стояла пустая, полотно чуть морщилось и волновалось от ветра, но никто к трибуне не подходил, даже мальчишки – и в голову не приходило там лазить.

А утром в праздник солдаты оцепили площадь, и там встали раскрытым к трибуне четырехугольником офицеры в парадных мундирах с расшитыми галуном петлицами на стоячих воротниках, с двумя пуговицами сзади, над доходящим до поясницы разрезом (по поводу которых всегда говорилось «пуговицы на самой сра... зу видно, что парадный мундир»), с парадными поясами из желто-золотой парчовой ленты, а те, кто стоял сбоку от «коробочек», по шестнадцать на шестнадцать человек, – с саблями на портупеях, пропущенных под золотые пояса.

Накануне праздника отец тоже принес из штаба, где она обычно хранилась, свою саблю и долго чистил пряжку золотого пояса со звездой, множество пуговиц парадного мундира, приколотые к нему навсегда ордена – две Красных Звезды и медали на желто-черных, черно-зеленых и красно-белых колодочках, а потом еще и ножны сабли, при этом Мишке не разрешено было даже близко подходить к вытасненной и положенной на кухонный стол сабле, как к опасному оружию, а потом отец вложил саблю в ножны и долго чистил эфес с гербом и Кремлем и, наконец, чистил золото на парадной фуражке – в общем, работы было до самой ночи.

Отец ушел на построение без шинели, хотя было уже холодно, но форма одежды была объявлена летняя парадная для строя; Мишка сел к розовой пластмассовой коробочке радиоприемника «Москвич» и близко придвинул ухо к обтягивавшей фасад приемника пестровой материи, чтобы слушать трансляцию парада с Красной площади, сигнал «Слушайте все!» и цокот копыт маршальской лошади по брусчатке; а мать стала варить на кухне холодец из купленных накануне на базаре свиных двупалых ног и резать вареную свеклу и соленые огурцы на большой винегрет.

Так прошло утро.

Мишка послушал парад и пошел на кухню смотреть, как мать возится. Он прошел мимо закрытой двери соседа-подселенца дяди Феди Пустовойтова, холостого старшего лейтенанта, месяцами загорающего на дальних командировках, а сейчас, как и отец, ушедшего в парадном мундире на построение, и тихонько вперся в кухню, чтобы не быть выгнанным, а в случае удачи получить обструганную капустную кочерыжку или шпротину на куске хлеба – обед мать ввиду праздничного дня и застолья в его второй половине не готовила.

В кухне варилась картошка, наполнявшая помещение влажным паром, а мать на доске резала сваренный накануне язык тонкими ломтями и складывала их, как поваленные косточки домино, на длинное блюдо из немецкого торжественного сервиза. Мишка получил кривой кусок языка с конца ближе к горлу, с трубочками и хрящами, на черном хлебе, сел на табуретку и начал жевать, глядя, как мать в длинном голубом креп-жоржетовом халате с тесемками, обернутыми вокруг талии и завязанными сзади, режет и чистит селедку-залом. Завинтив ноги вокруг ножек табуретки, Мишка жевал сухомятку, позволенную ему ради праздничного дня, думал о том, как придут гости и начнется шум, и вдруг вспомнил.

И сразу же кусок бутерброда буквально застрял в его горле, он закашлялся, мать обернулась, посмотрела на него со своей рассеянной улыбкой плохо видящего человека, которая могла показаться высокомерной тем, кто не знал, что у матери минус шесть, и, поняв, в чем дело, сильно хлопнула Мишку по спине маленьким крепким кулаком. Кусок вылетел из Мишкиного горла, он сглотнул – и совершенно неожиданно для себя в голос заревел.

Он уже давно, класса с третьего, не плакал в голос, и мать страшно удивилась. Она бросила нож, вытерла руки кухонным полосатым полотенцем и прижала голову сидящего на табуретке Мишки к шершаво-скользкому животу халата.

– Прошло, – удивленно повторяла она, – ну, ведь все проскочило? Что же случилось, Мишенька, что случилось? Ну, успокойся, что случилось? В школе? Ну, что ты? Ты у меня как маленький, перестань, ведь тебе же тринадцать лет уже!..

Мишка не мог перестать реветь и в ответ, громко втягивая носом слезы и даже заикаясь, выдал:

– Ты еврейка, – и от этого заплакал еще сильнее, – ты еврейка, у нас есть другая, шпионская фамилия, меня отдадут в малолетнюю колонию, да, отдадут?

Ему было стыдно реветь как маленькому, но он уже ничего не мог с собой поделать.

Мать молчала. И от этого молчания Мишкины слезы очень быстро высохли, он высвободил голову из материнских рук, отодвинулся и снизу посмотрел ей в лицо.

Он увидел, что глаза матери закрыты, а из-под век тихо ползут слезы, губы кривятся, рот открывается, и он понял, что сейчас и она заплачет в голос, и от этого замолк.

В то же время в прихожей открылась дверь, голоса отца и дяди Феди, громкие, как всегда бывают голоса людей, вошедших с холода, сразу наполнили всю квартиру неразборчиво-веселым разговором, потом послышалось внятное отцовское: «Мама, нам по рюмке скорей, окочели!», раздался стук сбрасываемых с помощью упора-рогульки сапог, две пары домашних тапочек пошлепали к кухне, и Мишка понял, что объяснять отцу, да еще при дяде Феде, почему они с матерью плачут, будет просто невозможно. Он вскочил, бросился, протолкнувшись в коридоре между отцом и соседом, в прихожую, схватил с гвоздя и вскинул на плечо велосипед «Орленок», купленный ему недавно, на последний день рождения, вылетел на лестницу, выскочил из подъезда, с грохотом хлопнув дверью на спружинившем толстом куске автомобильной резины, с ходу, на бегу, больно плюхнулся на узкое седло и понесся, привставая и крепко надавливая на педали, по дворовым асфальтовым дорожкам, между пожухлыми бурыми вениками на улицу, вырвался на опустевшую площадь и принялся накручивать большие круги и восьмерки.

Дул ветер, сдвигая к вискам еще ползущие по щекам слезы, с темно-серого неба редко капал холодный дождь, черные листья уже никто не убирал, они сбились к краю трибуны и лежали там валиком. Понемногу на площади стали появляться и другие велосипедисты, началось обычное кружение, в будние дни возникавшее в сумерках, после конца второй школьной смены и приготовления уроков первой, а сегодня ради праздника начавшееся среди дня. Многие мальчишки ездили, косо стоя под рамой, на взрослых харьковских велосипедах, некоторые – на трофейных, пошедших уже ржавчиной, один парень из девятого «А» – даже на тяжеленном австрийском с карданной передачей. На этом фоне Мишкин «Орленок» с высоко поднятым седлом, низким рулем с повернутыми к земле рогами и с хромированным насосом выглядел неплохо.

И постепенно Мишка влился в кружение, совершенно отдался этому вытесняющему любые мысли занятию езды по площади – и обо всем забыл. Он только жалел, что Нина на площади никогда не появлялась, поскольку у нее велосипеда не было, да она и кататься не умела, а возить на раме, как некоторые старшеклассники возят старшеклассниц, он много раз ей предлагал, но она стеснялась.

Впрочем, даже и ее отсутствие недолго огорчало Мишку, и вскоре он уже просто нарезал и нарезал круги мимо трибуны, под крупным, но редким дождем, ни о чем не думая. Велосипед летел, наклонялся на повороте, и серый воздух плотно и туго входил в Мишкину грудь.

Он вернулся домой, когда начало быстро темнеть, в пятом часу, и, как и ожидал, застал там уже гостей.

В прихожей на вешалке кучей висели парадные мундиры и фуражки, в том числе один мундир с серебряными узкими витыми медицинскими погонами, из чего следовало, что в гостях был дядя Гриша Кац, и одна голубая фуражка с малиновым околышем дяди Левы Нехамкина. Был еще и мятый мундир соседа дяди Феди Пустовойтова со связистскими молниями на неровно пришитых петлицах и целлулоидным холостяцким подворотничком.

Под мундирами, кроме отцовской сабли, висела еще одна, с черно-желтым репсовым гвардейским бантом у эфеса, именная, которая во всей части была только у одного человека, у дяди Сени Квитковского, во время войны служившего в кавалерии Доватора и получившего там это наградное именное оружие. Поверх сабли висел мундир с командными золотыми полковничьими погонами, что также подтверждало присутствие в гостях дяди Сени, служившего в штабе замом по строевой.

Под вешалкой грудой валялись хромовые начищенные сапоги, среди которых выделялись дяди-Сенины со шпорами – уже давно уйдя из кавалерии, он категорически отказывался менять форму и даже носил длинную шинель – до пят, не по уставу.

Из комнаты доносились шум общего разговора, стук вилок о тарелки и звон бутылок о стаканы. Мишка повесил велосипед на гвоздь, пошел в ванную, где мокрыми руками пригладил чуб вверх и назад, отчего этот не совсем чуб, а скорее, челка, оставленная на остриженной наголо голове небольшой заплаткой надо лбом (стрижка бокс, до полубокса Мишка еще не дорос), встала несколько дыбом, в очередной раз с отвращением отметил свое сходство с японцем, стащил через голову куртку-бобочку (на велосипеде он катался, конечно, без пальто), поправил воротник зефировой полосатой рубашки и вошел в комнату.

В комнате вокруг раздвинутого до овала круглого стола на уложенных концами на табуретки досках сидели гости. Мужчины, все как один, были в наглаженных нижних бязевых желтовато-белых рубашках-гейшах (только отец как хозяин был в гражданской шелковой тенниске с острым маленьким воротом), синих бриджах с высокими простеганными корсажами и шаркали под столом домашними тапочками. А женщины были нарядные, в крепдешинowych платьях и лакированных лодочках, которые они, Впрочем, сбросили под столом и сидели в одних чулках со швами и черными пятками. Молодая красивая жена дяди Левы Нехамкина, которую он нашел в последнем отпуске, ежедневно приходя перед концом лекций к подъезду московского мединститута, тетя Тоня, с короной из черных кос вокруг лба, была в кремовом платье в крупных красных цветах. Жена дяди Гриши Каца, тетя Роза, была в темно-синем платье в мелких желтых цветах, дым от ее папиросы наполовину закрывал ее лицо и как бы смешивался с седыми коротко стриженными волосами. А мать надела вишневое, с большими белыми бутонами, с длинной широкой юбкой и узким верхом, с короткими тугими рукавами, которое она сама только что сшила по рижскому журналу мод из материи, случайно купленной летом в Мосторге у Телеграфа.

Мишке все обрадовались. Дядя Сеня подвинулся на доске и освободил место между собою и матерью, налил в граненую рюмку темно-рыжего компота из груш-чернушек, поставленного матерью на стол для запивки, помог положить на тарелку дымящуюся картофелину и лаково сверкающую коричневую котлету. Но мать, заметил Мишка, смотрела на него со страхом, и он едва снова не заплакал, даже испугался, но тут дядя Федя предложил выпить, а дядя Гриша сказал тост, как всегда, за победу, и Мишка выпил компота вместе со всеми и отвлекся, а мать пошла на кухню смотреть, как жарится гусь, а все снова выпили – за завод, а мать с помощью дяди Феди принесла гуся, и все стали кричать, чтобы дядя Гриша его разрезал «как

хирург, ты же хирург, Гришка, так режь или уже только клизмы ставить можешь, пулеметчиков лечить?» – пулеметчиками называли солдат, больных дизентерией и лежащих в отдельном бараке во дворе госпиталя, и дядя Гриша, локтем поправляя толстые очки, разрезал-таки гуся удивительно ловко, быстро и так, что всем вышло по большому куску и еще осталось, а мать раскладывала тушеную, ржавого цвета капусту и яблочные дольки, и все смеялись, дядя Сеня рассказывал анекдоты про Карапета, дядя Лева на столе руками показывал, как курица ловит червяка, и всем было весело, и Мишка все забыл. Он хохотал вместе со всеми, вместе со всеми пил – только ему наливали компот, взрослым мужчинам «белую головку», а женщинам «Шато-икем», никто на него не обращал особого внимания, только дядя Сеня время от времени требовал: «Ну, Михаил, доложи обстановку», но тут же отвлекался, начинал рассказывать анекдот или наливал Мишкиной матери вина. Потом завели патефон, под «Фон дер Пшика» и «Брызги шампанского» дядя Федя танцевал с тетей Тоней, теряя тапочки, дядя Сеня с тетей Розой, перегибая ее назад, как будто хотел поставить ее на мостик, она вскрикивала, а дядя Гриша от смеха ронял очки в холодец, дядя Лева танцевал со старым венским стулом, прижимая его к груди, а отец отбивал ритм двумя вилками по краю тарелки и подпевал Утесову «остался от барона только пшик!». Потом все устали, сели, Мишка принялся менять иглу в патефоне, для чего выдвинул из патефонного бока треугольную коробочку, выскреб из нее коротенькую толстую иглу, повернул винт, вынул из мембраны старую – но все уже про патефон забыли и запели.

Лучше нету того цвету, —

пела мать красивым высоким голосом, а все молчали, ожидая своей очереди, дядя Гриша Кац сидел, подперев щеку, так что очки его перекошились и взъехали на лоб, отец закуривал, вскрыв ногтем новую коробку «Гвардейских» папирос, дядя Лева Нехамкин обнимал за плечи свою тетю Тоню, дядя Сеня Квитковский наливал себе в рюмку «белоголовки», дядя Федя Пустовойтов, проглотив содержимое своей рюмки, нес ко рту свисавшие с вилки нити кислой капусты, капуста падала на скатерть, и пустую вилку облизывал дядя Федя.

Когда яблоня цветет, —

пела мать, и все подхватывали, едва дождавшись, громкими голосами:

Лучше нету той минуты,
Когда миленький идет!

Громче всех пел дядя Гриша, у которого не было слуха, и он страшно фальшивил, а лучше всех из мужчин, правильным вторым голосом, пел дядя Федя, и дядя Сеня пел густым басом, а дядя Лева Нехамкин просто шевелил губами, отец пел, затягиваясь папиросным дымом посреди слов и выпуская его углом рта, зажмурив глаз, а женщины, тетя Тоня и тетя Роза, пели на два голоса, сдвинувшись головами и закрыв глаза.

Как увижу, как услышу —
Все во мне заговорит...
Вся душа моя пылает,
Вся душа моя горит!

«Лучше нету того цвету, – про себя пел и Мишка, стесняясь открывать рот, он вообще стеснялся петь при людях, – когда яблоня цветет, лучше нету той минуты...» Он о чем-то, сам не понимал о чем, задумался, не заметил, как запели уже другое. «Я тоскую по соседству и на расстоянии», – пел дядя Федя, все подпевали негромко, потому что дядя Федя пел здорово и песня была на одного, потом еще что-то запели, но у Мишки вдруг стали закрываться глаза, их защипало, Мишка был уверен, что от табачного дыма, но отец заметил, что глаза Мишкины слипаются, и сразу отвел его в дяди-Федину комнату, и Мишка даже не очень возражал, потому что вдруг действительно ужасно захотел спать, повалился на узкую дяди-Федину кровать, на колючее одеяло и сразу заснул.

А проснулся он ночью. В дяди-Фединой комнате было темно, только ярко светилась щель под закрытой дверью, из-за которой доносились тихие голоса. Никто уже не пел и не смеялся, просто разговаривали.

Мишка потянулся так, что его передернуло, сел, нащупал ногами на полу тапочки. За стеной голоса гудели, вдруг Мишка ясно расслышал отцовы слова: «Я от него только помощь видел!» – и голоса загудели погромче, но уже больше ничего разобрать было нельзя. Мишка встал, тихонько открыл дверь и вышел в коридор. Света и там не было, только ярко светилась застекленная и затянута изнутри сборчатыми занавесками дверь комнаты, в которой разговаривали. Стараясь не шлепать тапочками, Мишка проскользнул мимо этой двери на кухню. Там голоса были слышны отчетливо.

И, понимая, что поступает он не просто нехорошо, а недопустимо и что, будучи обнаруженным, от стыда умрет, а уж что мать скажет, лучше и не думать, Мишка тихонько сел на пол прямо у входа на кухню и стал слушать.

Глава четвертая. Ночь

Говорил отец.

– ...а если завтра про Левку скажут, что он космополит (и Мишка вспомнил того неизвестного поджигателя Кузьму, про которого рассказывал Киреев!), а Гришка солдат в госпитале травит (в комнате слышались какое-то движение и дяди-Федин голос: «Ну, мать же моя женщина!»), а за Маней придут и к брату отправят (дыхание у Мишки перехватило, потому что он понял, что Маней отец называл мать, братом – дядю Петю, и малолетняя колония, малолетняя колония!), а меня самого за потерю бдительности (всё, подумал Мишка, всё, Киреев правду сказал!) из партии – что ж, мне и в это во все верить?!

В комнате стало тихо. Слезы уже текли из Мишкиных глаз, но даже всхлипнуть вслух он не мог, потому что и вообразить было невозможно, что будет, если его здесь обнаружат. А в комнате опять слышалось движение, заскрипели доски, на которых сидели взрослые, потом звякнула посуда, дяди-Левин голос произнес «ну, будем», опять наступила тишина, потом кто-то громко вздохнул, и заговорила тетя Роза.

– Мы с Гришей давно уже готовы... Детей, слава богу, нет... И стариков нет, спасибо немцам... (Она делала длинные паузы, и Мишка представил, как она курит, сильно затягивается, и дым как бы смешивается с ее седыми волосами.) А Маша... Я думаю, что тебе, Лёня, надо самому пойти в политотдел, поговорить... В конце концов, он не твой брат, а Маша не служит и подписку не давала...

И опять в комнате все замолчали, опять слышался звон стекла о стекло, и Мишка понял, что это разливают водку и вино по стаканам. «На рейде ночном легла тишина», – как бы шепотом пропел дяди-Сенин бас и оборвал. Вилка стукнула о тарелку. Закашлялся дядя Федя и повторил про мать-женщину. Заговорила мать:

– Что Петю рано или поздно возьмут, это было понятно. Ювелир, сын ювелира... Все московские знакомые были уверены, что после папы не все забрали. И в Петинной мастерской было... я не знаю, но может быть... он никогда не говорил, но могло быть... Но кто написал Носову, кто?! Никто не знал, письмо я сожгла... Боже мой, если правда и Носов даст ход...

Мать всхлипнула, в комнате тихо зашумели, опять звякнули стаканы, дядя Сеня тихо пробасил «нашелся подлец, пронюхал», отец повторял «Маня, Маня», потом все смолкли, и голос дяди Левы произнес отчетливо: «Маше уехать бы надо», и все опять тихо заговорили, перебивая друг друга.

– Куда уехать?.. Да куда угодно, страна большая... А Лёня что будет говорить, куда жена делась?.. Куда-куда, поехала к родне, климат замучил, соскучилась... У половины офицеров жены с детьми не здесь, а Мишке лучше в московскую школу ходить, он в институт потом после нашей, деревенской, как поступать будет?..

И всех заглушил высокий, резкий голос дяди Гриши:

– Если Маша поедет в Москву, ее там возьмут сразу, вы что, идиоты, не понимаете? Надо сидеть спокойно, а не дергаться, как будто ты в чем-то виноват. Она что-то сделала? Ничего. Она живет с мужем там, куда послали, и ничего за собой не знает. И если Носов здесь начнет копать, ему генерал Лёньку не отдаст и Машу не позволит тронуть, а кто заступится за нее в Москве? Тем более что в Москве, я думаю, уже всех взяли и квартиру опечатали. Где она там будет жить и как?

Все молчали. Мишка тихо плакал, понимая, что происходит и уже произошло что-то страшное. Ему хотелось туда, в комнату, где взрослые, все понимающие люди, где отец, который может все объяснить, где мать погладит стриженный затылок и скажет, что неприлично подслушивать, где что-нибудь смешное расскажет дядя Сеня, а дядя Лева сунет со стола горсть конфет, и все разъяснится, и окажется, что ничего непоправимого не произошло с дядей Петей

и московскую квартиру не опечатали... И он вдруг вспомнил, что значит «опечатали»! Он вспомнил шум, доносившийся однажды ночью с лестничной клетки, и обнаружившуюся утром бумажку с лиловой печатью, наклеенную на дверной косяк дяди-Петиних соседей с третьего этажа, и концы веревочки, свешивавшиеся из-под бумажки, и представил себе такую бумажку и концы веревочки на дяди-Петиних двери и чуть не заревел в голос, но тут в комнате задвигали ножками табуреток, все начали вставать, и он едва успел убежать в дяди-Федину комнату, упасть на колючее одеяло, вытереть слезы со щек и закрыть наплаканные глаза.

Глава пятая. Каникулы

Мишка стоял у замерзшего окна и смотрел на узоры, сплошь покрывшие стекло колючими ветками и звездами. Занятие было бессмысленное, к тому же в поле зрения попадала заложенная между рамами сероватая вата, украшенная вырезанными из шоколадного серебра снежинками, вид которых Мишку почему-то раздражал.

На улице было минус тридцать семь с ветром, и каникулы пропадали впустую – все сидели по домам. Даже Киреева Мишка не видел уже три дня, с самой елки, которая, как всегда, была ужасно скучной, малышня в заячьих байковых ушах водила хоровод, девчонки в форменных платьях без фартуков и с кружевными воротничками – так разрешалось приходить только на Новый год – стояли кучкой в углу, а ребята толпились в другом, время от времени парами выходя в уборную, где один становился у входа на шухере, а другой быстро накуривался до тошноты и зеленых кругов в глазах. А потом ударил мороз, и все засели по домам. Можно было, конечно, позвонить Кирееву по телефону, но нормально поговорить не удавалось, потому что где-нибудь поблизости была мать, а у Киреева тоже мать и сестра были рядом, и весь разговор сводился только к дурацкому «а ты что делаешь?» – «а ты». Киреев читал «Тайну двух океанов», а Мишка прочел «Голову профессора Доуэля» и теперь дочитывал «Мальчика из Уржума», вот и все.

И оставалось много пустого времени. Мишка бродил по комнате, слушал радио, но «Москвич», наверное от мороза, сильно трещал, и концерт по заявкам почти не был слышен, Мишка шел на кухню и чего-нибудь брал съесть – в общем, томился.

В конце концов он потихоньку взял на кухне пузатую сахарницу синего резного стекла с металлической дугой ручки (металлическая крышка была давно потеряна), полную плоских кирпичиков рафинада, поставил ее на подоконник и, глядя на ледяные узоры, принялся грызть сахар и думать.

Кем был дядя Петя? Мишке казалось, что если понять это, сразу поймешь и все остальное. Всю жизнь Мишка был уверен, что дядя Петя был заведующим, но при этом никогда не задавался вопросом, чем именно заведовал дядя. Возможно, это объяснялось тем, что, когда они долго жили в дядиной семье, пока отец учился в академии, Мишка был еще маленький, а после, когда они приезжали в Москву во время отцовых отпусков, по дороге на курорт или с курорта, было как-то не до этого – еще три года назад, даже два, его интересовали совсем детские развлечения.

То ходили с Мартой в зоопарк, где он увидел наконец загадочного Робку, футболиста Роберта Колотилина, невысокого молодого человека в клетчатом длинном и широком пиджаке, поверх которого был выпущен воротник голубой шелковой рубашки, в узких и коротких светло-синих брюках, в коричневых ботинках на белой толстой каучуковой подошве, в пухлой кепке-букле, надетой косо, на правую бровь, так что бровь эта была как бы удивленно и насмешливо приподнята, а на затылке под кепкой короткие светлые волосы поднялись ершиком. Стояли возле обезьянника, но Мишка, вместо того чтобы рассматривать скачущих по сетке и то и дело ныряющих в свои домики мартышек, искоса рассматривал Колотилина, разговаривавшего с Мартой. Колотилин стоял к Марте близко, заложив руки за спину и слегка покачиваясь на своих необыкновенных подошвах, так что мышцы его немного кривых ног в узких брюках все время еле заметно дрожали под тонкой тканью. Колотилин что-то тихо говорил Марте, а мальчишки, сбежавшиеся к обезьяннику со всего зоопарка, его разглядывали не так, как Мишка, исподтишка, а откровенно, сбившись в кучу, и громко, чтобы Колотилин слышал, спорили о «Торпедо» и «Динамо».

То ходили с матерью в театр на «Синюю птицу», и это, с приготовлениями, занимало целый день. Мишку одевали в короткие штаны и настоящего мужского покроя пиджак из

серого пушистого материала – все это мать сшила сама по выкройкам, переснятым на кальку из трофейного журнала мод, который брала для этого у тети Розы. Повязывался парадный шелковый пионерский галстук, и Марта даже давала надеть на узел галстука свою стальную блестящую пряжку с костром – такие пряжки уже отменили, но в театр для красоты Мишка надевал. На матери было синее блестящее платье из панбархата, переливающееся ворсистыми как бы пятнами, и ожерелье из крупного янтаря. И они шли во МХАТ, так назывался театр, шли пешком по улице Горького, сидели в красных плюшевых креслах с выпуклыми, лишь немного прогибавшимися под человеком сиденьями, и Мишке больше всего нравилось, как актер Грибов играл Хлеб.

То все ехали на дачу в Малаховку, съезжались друзья Марты, молодые люди много старше ее, играли на желтых старых сосновых иглах, лежавших ковром, в волейбол через привязанную к деревьям сетку, кто-нибудь, погасив в прыжке, обязательно на иглах поскальзывался и падал на спину, однажды упал какой-то Матвей, и его гладко зачесанные набок волосы отвалились назад, и открылась большая лысина, а когда он уехал, мать и тетя Ада долго смеялись над его прической, которую они называли «внутренним заемом», и Марта смеялась тоже, а дядя Петя приезжал в поздних сумерках, почти ночью, и входил на освещенную с веранды площадку перед крыльцом, держа на отлете мороженный торт.

В общем, все время в жизни что-то происходило, в чем ни дядя Петя, ни отец, ни вообще все мужчины, которых знал Мишка, не участвовали. Их существование было очень важным, Мишка чувствовал, что все зависит от них, но это существование было отдельным и называлось «работа» или применительно к большинству мужчин – большинство носили военную форму – «служба».

Но теперь Мишка все время думал о дяде Пете и довольно скоро, почти сразу после той ночи с седьмого на восьмое ноября, до многого додумался.

Во-первых, дядя Петя был заведующим ювелиром, это стало ясно из сказанного матерью. И дед, который умер давно, до Мишкиного рождения, и остался только на портрете с маленькой бородкой, большими усами и смешным галстуком-бантиком, отец матери и дяди Пети, тоже был ювелиром и, наверное, тоже заведующим. Слово «ювелир» Мишка сразу запомнил, он вообще легко запоминал слова, а значение этого слова ему примерно было известно из книг, но он на всякий случай еще влез в серый коленкоровый «Словарь иностранных слов» и все внимательно прочитал.

Во-вторых, дядю Петю действительно забрали, то есть арестовали, Киреев не врал. Мишка сам не знал, откуда ему стало известно, что значит «забрали», никто никогда ни дома, ни в школе об этом не говорил, но все это знали, не только тринадцатилетний Мишка, но и самые ничтожные второклассники, крутившие на переменках друг другу руки с воплями «ты арестован! пошли в плен! мы тебя забираем в тюрьму!». И Мишка знал, кого арестовывают, когда нет войны и фашистов: шпионов, диверсантов, тех, кто переходит советскую границу, двигаясь на коровьих копытах задом наперед, но пограничников и их собак обмануть нельзя, и они обязательно «берут» нарушителя, который оказывается бывшим предателем-полицаем, а выдает себя за простого колхозника и уже готовится сесть в электричку и проникнуть в глубь страны. Некоторые из таких арестованных потом понемногу исправляются, тогда их присылают в Заячью Падь, в лагерь, и они работают у отца на заводе. Еще иногда арестовывали воров – однажды Мишка сам видел, как такого поймали у площади Маяковского в троллейбусе, его схватили на задней площадке, где толпилось много народу, пытавшегося пробраться на более свободный второй этаж, и все его били чем попало по голове, пока протискивался милиционер в белой летней фуражке. Но ни на вора, пойманного в троллейбусе, ни на шпиона-диверсанта в ватнике и на привязанных копытах дядя Петя никак не походил. Значит, он был другим шпионом – из тех, о ком говорили по радио, врагом народа, который задумывал поубивать всех вождей и продать весь СССР американскому дяде Сэму с длинной бородой, как у козла, в

цилиндре со звездами и полосами и в коротких, выше щиколотки штанах на тонких козлиных ногах. Но даже если бы Мишка согласился поверить, что дядя Петя был таким врагом народа, то и тут не все сходилось. По радио говорили никак не о заведующих и ювелирах, а о профессорах, врачах, убийцах в белых халатах, которые уже многих отравили и готовились отравить всех подряд – инженеров-изобретателей, руководителей партии и правительства, писателей и маршалов. Ювелир же, как Мишка понимал, никого отравить не мог, он просто делал золотые и серебряные кольца для женщин или, например, царей, когда были цари, и вставлял в эти кольца рубины, как те, из которых кремлевские звезды, или изумруды, как в сказках.

В-третьих, Мишка прочитал в том же «Словаре иностранных слов», что такое «космополит», и сначала ничего не понял. Вернее, он понял, что Киреев – дурак и ни про какого Кузьму-поджигателя никто ничего не говорил, а говорил Киреев-отец, как и взрослые ночью за столом, о космополитах. Но про космополитов было написано совершенно непонятно, и вот Мишка, стоя у замерзшего окна и догрызая последний рафинад из сахарницы, про них думал и ничего придумать не мог. Ясно было только, что это тоже враги народа, но они не травят людей, а как-то по-своему делают так, чтобы американцы победили СССР и вообще всех в мире. Мишка стал вспоминать, что говорили мать, отец, дядя Гриша и тетя Роза той ночью, – ему казалось, что, если вспомнить точно, станет все понятно и с космополитами, и с дядей Петей, и с тем, что будет с ними со всеми. Он вспоминал слово за словом, и вдруг ему показалось, что он догадался, но в это время мать позвала его обедать и пришлось идти – с полным ртом сладкой слюны, придумывая на ходу, как отказаться от еды.

На кухне мать наливала уже в его тарелку любимый суп из пестренькой фасоли, которой раньше, когда Мишка был маленький, он любил играть. Мишка незаметно сунул пустую сахарницу на полку и сел есть – от любимого супа отказываться было невозможно. Он тянул сквозь зубы горячий суп негромко, но мать, конечно, сразу сказала: «Не тяни, лучше подуй на ложку». Мать села на табуретку и смотрела, как Мишка ест. Она сняла очки, и поэтому взгляд ее, как обычно, казался насмешливым – Киреев говорил, что Мишкина мать задается, но Мишка-то точно знал, что она просто почти ничего не видит, у него и у самого теперь, когда дядя Гриша Кац выписал ему очки, которых он не носил, взгляд стал такой же, а в классе многие считали, что он задается, потому что отличник...

И вдруг в одно мгновение Мишка понял все! Каким-то образом все сложилось в его голове – космополиты, шпионы, мать, дядя Петя, все, что говорила тетя Роза, и все, что теперь будет... Он отодвинул тарелку и встал.

– В чем дело? – Мать прищурилась, отчего лицо ее приобрело еще более насмешливое выражение. – Опять сахара наелся? А кто гречку есть будет? Миша! Ведь размазня! И печень жареная... Миша, куда ты пошел?!

Но Мишка, уже ничего не слушая, не желая ни гречки-размазни, ни жареной печени, которую вообще-то он любил больше всего, уже выскочил из кухни. В прихожей он взял маленький венский стульчик, раньше принадлежавший ему, сидя на котором, теперь отец по утрам обувался, и потащил в комнату. Там он пристроил стул между высокой, с белыми вышитыми батистовыми занавесками, спинкой железной родительской кровати и буфетом и с трудом сам уместился на стульчике в этом углу, прислонившись лбом к прохладным прутьям спинки. Мать заглянула в комнату, но решила не приставать – видно, не хотела скандалить, зная, что добром Мишку, когда он садится в этот угол, выйти не заставишь.

Прижимаясь лбом к прутьям, Мишка старался успокоить, утихомирить мысли, несшиеся в голове с таким шумом, будто там, в голове, орал целый класс, распущенный на большую перемену. Такой крик толпы нередко возникал в Мишкиной голове, но обычно это бывало, когда он сидел один дома, делал уроки или читал, – и вдруг начиналось. Мишка этого крика боялся, вскакивал и начинал бегать по комнате, и тогда крик понемногу затихал, но сейчас крик поднялся в необычных обстоятельствах, и Мишке было не до того, чтобы с ним бороться.

Всё, всё стало ясно! Космополиты – это евреи. Дядя Петя и мать – евреи. Космополиты – за американцев. Дядя Петя – заведующий ювелир и космополит, значит, он помогает американцам, тайком делая для них какие-нибудь «детали» – про «детали» было написано в «Тайне профессора Бураго» – из золота, или серебра, или даже из рубинов, из которых не случайно же делают и кремлевские звезды! Теперь его забрали, и скоро, как еврея-космополита, заберут и мать. Дяде Коле Носову прислали письмо, где обо всем этом рассказано, потому что он, дядя Коля Носов, и должен ловить шпионов, космополитов и других врагов. И главное – никакой малолетней колонии не будет! Потому что Мишка и сам еврей и космополит, потому что очки... как у матери... и его заберут тоже.

Мишка даже не заплакал.

Просто все так изменилось за эти пять минут, за которые он до всего додумался, что плакать уже не было ни сил, ни смысла. Ему даже не было обидно, что он вместе с матерью оказался космополитом и врагом, ничего плохого не сделав, – он чувствовал, что все равно в этом есть какая-то справедливость. Что-то такое было в них с матерью, что отличало их от других, это Мишка всегда чувствовал. Вот отец, конечно, никакой не космополит, а просто переживает и расстраивается за мать и Мишку. И про Киреевых никто никогда не скажет, что они враги, и про дядю Федю Пустовойтова, и про тетю Тоню Нехамкину, и про дядю Сеню Квитковского... Дядя Сеня... Мишка задумался, потому что про дядю Сеню не мог решить точно и про дядю Леву Нехамкина тоже. Зато было совершенно понятно, что дядя Гриша Кац и тетя Роза такие же, как мать, как дядя Петя, как Мишка... Хотя представить себе дядю Гришу космополитом и шпионом было еще труднее, чем мать.

Мишка вылез из угла и пошел на кухню.

Мать сидела на табуретке в той же позе, в какой он ее оставил, смотрела прямо перед собой, слегка откинув голову, и выражение лица у нее было уже не насмешливое, а отрешенно-гордое, какое тоже иногда бывает у близоруких. И Мишка сделал то, что уже лет пять стеснялся делать, если кто-нибудь, хотя бы отец, видел: взгромоздился, здоровый тринадцатилетний парень, матери на колени. Продолжая глядеть куда-то, в одной ей видимую даль, мать обняла Мишкину голову одной рукой, прижала к своей щеке.

– Мы космополиты, мам? – спросил Мишка тихо.

– Мы евреи, Миша, – так же тихо ответила мать. – Ты уже спрашивал...

– А папа?

– Папа... Он наш папа, понимаешь?

– Нет... Его тоже заберут?

Мать вздрогнула, отстранила Мишкину голову, шурясь, близко посмотрела в Мишкины глаза.

– Ты что-то слышал... Подслушал? Как же не стыдно, Миша... И ничего не понял к тому же!

– Я все понял! Дядя Петя – космополит и шпион! А раз он космополит, то и мы тоже... хотя не шпионы и не враги... Тоже...

Мать уже не шурилась, она придвинула свое лицо к Мишкиному еще ближе, и теперь ее глаза были совсем близко, и стало видно, что они светло-коричневые, почти желтые, как золото, и только огромные зрачки делают их темными, почти черными.

– Дядя Петя?... Откуда ты знаешь про дядю Петю?! Ты совсем ничего не понял... Он... Дядя просто нарушил правила там, на своей работе, просто он ошибся, и скоро его уже отпустят... Только пять лет...

– Я знаю, он ювелир, он заведующий ювелир. – Мишка уже говорил, не останавливаясь, потому что было все равно, теперь уже нечего скрывать, потому что все ясно, – и, наверное, он делал какие-нибудь детали для американцев...

– Дурак! – Мать сбросила Мишку с колен, и он сразу замолчал, потому что мать никогда не сбрасывала его, если он садился на колени. – Дурак! Дядя Петя... Ну, как тебе объяснить? Просто он работал по золоту, понимаешь? И кто-то донес...

Мишка понял только последнее слово.

– И на тебя кто-то донес, – сказал он, уже почти не думая, что говорит. – Кто-то написал дяде Коле Носову...

– Замолчи!

Мать так закричала, что Мишке сразу стало легче: если мать кричит, значит, не все кончилось, не все изменилось, значит, по-прежнему власть в ее руках и все будет как раньше, все дома будет делаться, как скажет мать, и постепенно устроится, и дядю Петю отпустят через пять лет...

В окнах давно уже был ранний январский вечер, и морозные ветки и звезды сияли на черном. Но Мишке все же удалось уговорить мать и вырваться на улицу – только надеть из-за мороза пришлось столько, что еле застегнулось пальто, а уши шапки Мишка и сам опустил, не дожидаясь, чтобы мать сказала. Когда она, проверив, как Мишка оделся, ушла на кухню, где обычно читала, включив яркую лампу над кухонным столом, Мишка тихонько пробрался к телефону и шепотом сказал дежурному Нинин номер. Нина, будто ждала, сама сняла трубку – не пришлось врать ее матери про заданное на каникулы. «У школы, угол забора», – тихонько пробормотал Мишка. «Ладно, Надька, я уже выхожу», – бодрым лживым голосом ответила Нина.

И Мишка, едва не промахнувшись трубкой по рычагу, кинулся к двери.

Глава шестая. Свидание

Мороз был такой, что сразу заболели руки в варежках и пальцы ног в шерстяных носках. Вообще-то Мишка не любил эти купленные на базаре в селе вещи из серой шерсти с белыми, упруго торчащими волосками. Мать называла такую шерсть крестьянской, а Мишке это слово было неприятно, оно было связано с особым запахом, исходившим от варежек и носков, такой же запах наполнял избу, в которой Салтыковы снимали комнату, когда все назначенные служить в Заячьей Пади офицеры снимали жилье в селе, пока строился городок. Запах входил в число тех, от которых Мишку обязательно начинало тошнить: дорожный запах паровозной гари, ложившейся черными размазывавшимися точками на чистые вагонные наволочки; кислый запах сырого мяса, исходивший не только от мяса, когда мать резала его или отец рубил маленьким топориком на доске, но и от Киреева; едкий запах синего дыма, вылетавшего клубами из гусеничного тягача «атэтэ», который иногда с грохотом и воем проезжал по улицам городка, странный, будто из кино; и этот запах, крестьянский... Но в мороз варежки и носки хорошо грели и приходилось их надевать, хотя все равно болели пальцы рук и ног.

Тихонько постанывая от этой боли и оттого, что занемевшие щеки и нос сильно щипало, дыша в цигейковый воротник пальто, сразу покрывшийся инеем, Мишка неся к школе. Высокие валенки резали под коленками, но приходилось спешить, потому что Нина жила к школе ближе, в домах строителей.

Отец Нины Бурлаковой командовал строительным батальоном. Солдатами в батальоне были худые узбеки, скуластые таджики и темнолицые азербайджанцы, а почти все офицеры раньше носили морскую форму, потому что их перевели с разных морей, где они строили порты. И до прошлого года Нинин отец ходил в черной шинели со скрещенными якорями и кирками на петлицах, в синем кителе с тесным стоячим воротником, в черных брюках навыпуск и в ботинках, а в прошлом году всех офицеров-строителей заставили переодеться в сухопутную форму с серебряными инженерскими погонами и скрещенными молотком и гаечным ключом. Но капитан Бурлаков от этого не стал менее заметным: он был самым высоким из всех виденных Мишкой мужчин, из-под козырька его фуражки упрямо вылезал соломенной волной чуб, и погоны на его совершенно прямых и очень широких плечах задирались вверх крыльями еще сильнее, чем у всех офицеров.

А мать Нины была толстая, черноволосая, с большими черными глазами и тонкими, почти совсем сбритыми бровями. Летом она ходила в сарафанах, так что были видны ее всегда сильно загорелые плечи и руки, а зимой носила узкое в талии и очень широкое внизу серое бостоновое пальто с воротником из черно-седой лисы. Этот воротник с лапками и мордочкой, на которой сверкали стеклянные глазки, назывался горжеткой или чернобуркой, и Мишкина мать хотела купить такой еще позапрошлым летом в Москве, но к концу отпуска всегда не было денег, так что мать не купила чернобурку ни в позапрошлом году, ни в прошлом.

Возле школы было пусто. Мишка проскочил на всякий случай до дальнего угла забора, хотя даже ему, с его материнской близорукостью, издали было видно, что и там никого нет. Его сразу охватило отчаяние: на таком морозе за время ожидания у него совсем застынут руки и ноги, а куда деваться, когда Нина придет, тоже было непонятно. В школе светились некоторые окна, там репетировали в драмкружке «Горе от ума» старшеклассники и офицерские жены учились кройке и шитью, пойти с Ниной в школу было совершенно невозможно, обязательно кто-нибудь их увидел бы.

Впрочем, Нины все еще не было.

Сжавшись внутри одежды, поджимая в валенках и варежках пальцы, словно пытаясь стать меньше, чтобы мороз не заметил его, Мишка еще раз пробежал вдоль школьного забора до угла и дальше, до поворота на Строительную, на которой жила Нина. И сразу увидел

ее, узнал очертания фигуры в туго подпоясанном пальто с несоразмерно большой головой – поверх берета был повязан материн пуховый платок. Приближаясь, фигура колебалась в желтом свете, падающем из окон первых этажей.

– Замерз? – задала глупый вопрос Нина.

Мишка молча снял варежки и осторожно просунул руки под рукава ее пальто, Нина тихо крикнула «дурак», но руки не отняла, и они застыли, сцепившись буквой «н».

– Куда пойдем? – все так же почти шепотом, будто кто-то мог их услышать на заледеневшей улице, спросила Нина.

– Меня мать в кино пустила на шесть часов, – сказал Мишка, – в старом клубе опять «Три мушкетера», да мне неохота, я четыре раза видел, глупость, прыгают вверх ногами, совсем на трех мушкетеров не похоже. Американцы все по-своему придумали... А ты хочешь?

– Я тоже видела... – Нина уже высвободила свои запястья, и теперь они медленно шли вдоль школьного забора, держась рядом, но не касаясь друг друга. – С Надькой ходили. Мне тоже не понравилось... А куда же пойдем? Холодно очень, колени совсем замерзли...

Ничего не ответив, Мишка свернул в школьный двор. Славка Петренко из девятого «А» – староста драмкружка, игравший Чацкого, любимчик руководительницы, молодой клубной библиотечарши Елены Валентиновны, волейболист, летом участвовавший в первенстве городка в одной команде с молодыми офицерами, переросший всю школу синеглазый брюнет – к Мишке относился хорошо, поскольку жил с ним в одном дворе и брал у Мишкиной матери книги почитать. Можно попытаться как-нибудь незаметно проникнуть в спортзал, где шла репетиция, потихоньку попросить у Славки разрешения – Елена Валентиновна вообще ничего не видит и не слышит, когда репетирует, – и молча посидеть на сложенных в темном углу матах, незаметно держа Нину за руку. План, конечно, был рискованный, любой десятиклассник или десятиклассница (особенно вредная Галка Половцова, которая играет Софью) могли выгнать, да еще и обсмеять – от горшка два вершка, а туда же, гуляют! Но ничего другого Мишке в голову не приходило.

Нина молча шла на шаг позади него.

Они уже поднялись на крыльцо, когда раздался очень громкий в тихом морозном воздухе скрип – Мишка оглянулся, застыл – и с грохотом распахнулась маленькая дверь в правом крыле школы. Дверь эта выходила на низенькое крыльцо и вела, как Мишке было известно, в комнату, которую школа выделила под жилье Вальке-техничке, поскольку «положено по закону», как говорила сама Валька. Валька была деревенской сиротой, жить ей было негде, и директор Роман Михайлович пожалел ее, взял после седьмого класса вечную второгодницу техничкой. А в левом крыле у самого Романа Михайловича была комната побольше, с кухней, и он жил там с женой, Зинаидой Федоровной, ботаника, биология и рисование. Сейчас в левом крыле окно было темное.

На низеньком крыльце возникла Валька в шароварах и заправленной в них нижней рубашке. Она выплеснула в сугроб из чайника широкий язык воды и, оглянувшись, заметила пару. Присмотрелась, негромко хохотнула своим почти мужским басом и поманила Мишку рукой. Валька, конечно, была дура и двух слов не могла связать, так что вряд ли кому-нибудь расскажет, да и кто ее станет слушать, но Мишке все же стало не по себе. Тем не менее он подошел, проваливаясь в не разгребавшийся во время каникул снег, к Вальке. Толстое Валькино лицо белело в темноте, она улыбалась.

– Ну, замерзли на улице обжиматься? – Валька говорила негромко, но Мишка все равно вздрогнул, в любой момент кто-нибудь мог выйти из школы и услышать этот жуткий разговор. – Хотите ко мне зайти? У мене тепло, мне диван старый из учительской дали, сидите лапайтесь, а я на поле у печки ляжу, там тепло... У тебе рубель с завтреков остался?

У Мишки был не рубль, а большая синяя пятирублевка, которую мать дала на кино и на какао с пtifуром в буфете, но он не сразу понял, что Валька хочет плату за то, что пустит их с Ниной греться. Валька нетерпеливо переступила опорками валенок, надетыми на босу ногу.

– Ну, рубель дашь?

Мишка молча вытащил из кармана и протянул ей пять рублей. Мельком взглянув на купюру, Валька ловко выхватила ее из Мишкиной руки и сунула под рубаху, в вырезе которой при этом сверкнуло белое и пухлое, отчего Мишка вздрогнул.

– За пятерик можете хоть до утра. – Валька суетливо повернулась, снова со скрипом открылась дверь, и на Мишку из глубин налетел тот самый запах, крестьянский. – Бери свою, идишь...

Мишка оглянулся. Нина стояла, отвернувшись и провалившись ботами в снег, шагах в четырех. «Слушай, – позвал он ее еле слышно, не желая называть по имени, поскольку надеялся, что Валька в темноте девочку не разглядела, – слушай, иди скорей!» И шагнул следом за Валькой в маленькие затхлые сени и потом в комнату, где синим чертом плясал огонь в железной печке, сделанной из малой керосиновой бочки, двигался теплый пахучий воздух, лежал на полу у печки тюфяк и в дальнем темном углу высился огромный диван – Мишка помнил его по учительской, его рваный дерматин, неподъемно тяжелые колбасы валиков по бокам и деревянную полку над спинкой, на которой, когда диван стоял в учительской, лежали старые классные журналы стопками, а теперь были свалены кучей какие-то Валькины тряпки. Мишка услышал, как Нина вошла следом и прикрыла за собой скрипучую дверь. Огонь в печи прыгнул и стал розовым, а потом посинел еще гуще.

Валька храпела на своем тюфяке.

Во тьме, пронизанной голубыми тенями огня, они разделись. Он снял, стянул назад свое пальто, стащил через голову бобочку, еле справившись с заевшей молнией, две байковые нижние рубахи и теперь сидел голый до пояса, мучительно ощущая в темноте свою худобу, тонкие обручи ребер и покрывшуюся мурашками кожу. Он расстегнул ее пальто и снял его, выворачивая рукава. Платок она распутала сразу и положила на колени, но берета не сняла. С мелкими кнопками на спине платья он возился долго, подковыривая каждую ногтем, а потом просто потянул, и они разошлись с тихими шелчками. Под платьем на ней была шерстяная безрукавка без застежки, которую он потащил кверху, но она немного сопротивлялась, и он безрукавку оставил, подняв до подмышек. Обнаружилась широкая полотняная лента лифчика с шершавыми линиями швов, которыми были простеганы чашечки. Он сунул руку ей за спину, но она откинулась, прижалась к своему полуснятому пальто, и ему стало неудобно. Пожалуйста, сказал он, ну, пожалуйста. Она посидела минуту с закрытыми глазами – ему было видно в темноте – и перестала сопротивляться совсем. Ему удалось довольно легко справиться с крючками лифчика на спине. Ее груди разошлись, он положил ладонь и почувствовал подающиеся под рукой, как бы проваливающиеся в пустоту припухлости сосков и застыл. Они сидели молча, не двигаясь, огонь плясал, Валька храпела. Потом он всем телом повернулся и просунул вторую руку под платье, вниз, и нащупал верхнюю резинку трусов и еще какие-то широкие ленты и пряжки, и, неестественно выгибая руку, стал просовывать руку еще ниже и нащупал резинки, стягивавшие вокруг ног эти длинные и толстые, бархатистые внутри от начеса трусы, и еще пряжки, и сантиметр голой, холодной и гладкой кожи, и сморщенные пряжками верхние края толстых вигоневых чулок. Он оттянул верхнюю резинку, сунул руку, выворачивая ее совсем противоестественно, еще глубже и опять застыл, еле двигая пальцами и поглаживая самыми их кончиками тонкие выющиеся и ускользающие волоски. Вдруг Валька захрапела громче, бормотнула что-то во сне, перевернулась на спину, солдатский полушубок, которым она укрывалась, свалился на сторону, и открылись толстые желтые Валькины ноги до самого верха, до края взъехавшей рубахи, из-под которой выполз большой черный треугольник, клубящийся в синем прыгающем свете. Мишка оцепенел, закрыл на мгновение глаза, потом открыл их и, еле

найдя силы отвести взгляд от Вальки, посмотрел в лицо Нине. Ее глаза были открыты, и она глядела на Вальку не отрываясь, и огонь отражался в ее зрачках сине-розовыми проблесками. Мишка с усилием зажмурился, снял левую руку с Нининой груди и, взяв ее кисть, стал молча засовывать эту кисть под тугую пояс своих лыжных штанов, под застежку байковых, переделанных из отцовских, кальсон, под резинку трусов, туда, где все дрожало сильнее и сильнее, где, казалось, сошлось, натянулось и дергалось все Мишкино тело. Кисть была мягкая, пальцы цеплялись за тряпки Мишкиной одежды, но он дотащил руку туда, где все ждало и требовало этой руки, и сжал эту мягкую руку вокруг дрожавшего и дергавшегося, и снова, уже неотрывно, стал глядеть на Вальку, раскинувшую ноги в стороны и переставшую храпеть, и чувствовал, что и Нина глядит туда же, слышал ее дыхание и даже ощущал запах этого дыхания, горячий и немного едкий запах, который обычно исходит от складок тела вечером, когда раздеваешься. Он сжал Нинину руку вокруг себя еще сильнее, и тут уже все его тело напряглось, натянулось, его стало выкручивать, он прогнулся назад, будто хотел сделать мостик, на секунду его охватила летняя жара, он увидел штаб, услышал голос Киреева «смотри, Миха», потом холод окутал его, он весь передернулся – и почувствовал, что вся его одежда, и рука, и Нинина рука в мгновение стали мокрыми и липкими, и в то же мгновение все прошло, а остался только ужас, потому что это уже не спрячешь от матери.

Как смог, он вытерся слипающимся носовым платком и им же вытер Нинину руку. Потом, никак не попадая крючками в петельки и с трудом нащупывая кнопки, застегнул ее, оделся сам, и они вышли, осторожно открыв и закрыв дверь. Валька опять захрапела и перевернулась на живот, натягивая полушубок, но они старались не смотреть на нее.

На улице показалось гораздо теплее, чем раньше.

И ни одно окно в школе уже не светило.

И Мишка понял, что случилась страшная вещь: они не заметили времени, сейчас уже очень поздно, настоящая ночь, его ищет мать, а может, и отец, и Нину тоже ищут, обзвонив всех из класса, и его, и Нинины родители поняли, что искать надо двоих, и теперь...

– Идем быстрее, я тебя провожу, поздно очень, – сказал он и потянул Нину за руку к выходу из школьного двора.

Они быстро прошли вдоль забора, свернули на Нинину улицу Строителей и почти побежали по ней. И вдруг Нина остановилась.

– Подожди, я задыхнулась, – сказала она и, помолчав секунду, глянула Мишке в лицо и неожиданно задала неприятный вопрос, из тех, на которые была большой мастер, из-за чего они уже несколько раз ссорились и потом не встречались по нескольку дней.

– Чего ты все боишься? – спросила Нина и, не дожидаясь, что он ответит, продолжала: – Чего вы все здесь боитесь? Вот мы жили в Потти, там никто ничего не боялся, там все ночью гуляли, и взрослые, и даже маленькие совсем... Там тепло, море, моряки ходят, все в своих домах живут, сады, абрикос растет... А здесь ни у кого даже собаки нет, мороз, темно, и боятся все... Мама правильно отцу говорит, чтобы рапорт писал, уезжать отсюда на юг. Они раньше были веселые, сидели в саду, шашлык жарили, с грузинами дружили, а здесь с кем дружить? Все по домам сидят, одна ваша еврейская компания у твоих родителей собирается...

Тут Нина осеклась и замолчала. От изумления молчал и Мишка. Во-первых, Нина никогда не говорила так помногу сразу, в основном она слушала, как Мишка рассказывает о книгах или о Москве. Во-вторых, «еврейская компания», о которой сказал не кто-нибудь, не дурак Толька Оганян, например, или Киреев, который все Мишке говорил, что где ни услышит, а Нина, ударила по ушам, будто лопнул морозный воздух, как бывает, когда вдруг выстрелит мотор грузовика. Мишка даже забыл о времени, о том, что их наверняка уже ищут, и даже о том, что было только что в Валькиной комнате, и о мокрых, прилипающих к телу трусах. В-третьих, и это было самое главное, Мишка почувствовал, что Нина права, и даже не просто права – она сказала то, что Мишка и сам знал, но никогда не говорил, даже себе, в таких сло-

вах. Жить в Заячьей Пади было страшно. Возвращаясь из Москвы, Мишка каждый раз чувствовал, как со всех сторон облепляют этот страх, и тоска, и уныние. И собак в Заячьей Пади никто не держал действительно – вернее, в селе-то Заячья Падь их было полно, в каждом дворе рвался с цепи и хрипел Полкан или Шарик, но в городке, имевшем адрес «Москва-350», ни домашних, ни уличных собак не было, только визжали овчарки, бегающие на проволочных поводках, скользящих вдоль длинной проволоки за стеной завода, да еще, говорят, огромная черная немецкая овчарка жила за стеной генеральского дома. Но почему «еврейская компания»?.. Мишка было вспомнил все плохое, что произошло за осень и зиму, но мороз – они так и стояли друг против друга, и холод напомнил о себе – отвлек его.

– Ничего я не боюсь, – для порядка возразил Мишка и осторожно спросил: – Ну, и написал твой отец рапорт? И вы уедете?

– Ничего он не написал, – раздраженно ответила Нина, отвернулась и пошла дальше по улице к своему дому, и, догоняя ее, Мишка расслышал, как она пробормотала тихо, почти про себя: – Тоже боится...

– Ну?.. – Мишка слегка подтолкнул ее, чтобы она закончила фразу.

– ...а мать говорит, что раз так, то мы с ней уедем к бабке, в Одессу. Там тоже хорошо, тепло, у матери дам знакомых много, у бабки дом на шестнадцатой станции...

Теперь они шли совсем быстро, оба молчали. В голове у Мишки было только одно – Нина скоро уедет! И странное чувство начал испытывать Мишка: будто сообщили на перемене, что следующего урока, к которому он как раз домашнего задания не сделал, не будет...

Но разобраться с этим чувством он не успел, потому что они подошли к Нинину подъезду и вошли в его теплую полутьму. Мишка протянул руки, чтобы обнять Нину и попробовать поцеловать – они в последнее время всегда целовались, прощаясь.

Однако на этот раз, к счастью, поцеловать ее он не успел. Позади грохнула на пружине подъездная дверь, и, не оглядываясь, по Нинину лицу Мишка все понял.

Бурлаков с высоты своего жуткого роста смотрел на Мишку со спокойным интересом. На Бурлакове был распахнутый на груди офицерский белый полушубок, из-под которого виднелись полосы тельняшки.

– Домой беги, – сказал Бурлаков громко в тишине ночного подъезда, – беги, там мать уже всю комендатуру в ружье подняла.

Он взял Мишку за шиворот и подтолкнул к двери. Вылетая в настежь распахнувшуюся от толчка дверь, Мишка успел оглянуться. Бурлаков наклонился и, не размахиваясь, ударил Нину по щеке, так что его ладонь на мгновение закрыла все ее лицо. Нина молчала. Дверь захлопнулась, но Мишка еще услышал, как Бурлаков, еще сильнее нагнувшись, сказал: «Была б родная – убил бы», и увидел, как Нина взлетела в воздух – Бурлаков взял ее под мышку, как куклу.

В Мишкиной голове, пока он несея по ночному городку, мыслей не было никаких. Вернее, он все время повторял фразу, сразу придуманную для матери: «Часов же нет, откуда я время могу знать?» – как такая наглость пришла ему на ум, он и сам не понимал. Часы в классе были только у Генки Слинько, сына полковника-начштаба, «Победа» с черным ободком по циферблату и золотыми цифрами. И Мишка даже не мечтал пока о часах, надеясь получить их в лучшем случае к десятому классу, но тут, видимо, безумие охватило его, и он все повторял про себя: «Часов же нет, часов же нет...»

Он увидел обоих одновременно. Отец быстро шел, почти бежал навстречу, откидывая коленями длинные полы шинели, а мать, сдвигая назад платок, налезавший ей на лицо, выглядывала из подъездной двери – Бурлаков, видно, уже позвонил.

С разбегу Мишка уткнулся в отцовскую шинель, отодвинулся, но сказать ничего не успел – отец сильно прижал его голову к себе, повторяя: «Сынок, сынок». И Мишка заплакал, конечно.

Глава седьмая. День рождения

Оганянов все считали странными людьми. Во-первых, Инка и Толька назывались двойняшками или близнецами, что уже вызывало интерес – других таких не было во всей школе. Правда, в прошлом году кончили десятый братья Малышевы, но, во-первых, братья, а не брат и сестра, во-вторых, их уже не было не только в школе, а и в городке, потому что эти лоботрясы никуда даже не поступали и их, переростков, не учившихся всю войну, сразу забрали в армию. Малышевых называли исключительно близнецами, а Оганяны требовали, чтобы их называли обязательно двойняшками, а за близнецов Толька лез драться, и Инка его поддерживала. Ну, называли их, конечно, двойняшками-говняшками, но за это они обижались меньше. В отличие от беловолосых и белоглазых Малышевых, абсолютно неразличимых и постоянно этим пользовавшихся, Толька и Инка вообще не были друг на друга похожи, только носы были одинаковые, большие и толстые, но у Инки волосы отливали желто-красным, как провода с трансформаторных катушек, а у Тольки – синевой, как только что почищенный «тэтэ».

Однако всем этим не исчерпывались странности семьи Оганянов, более того – не это было самым странным. Гораздо более удивительным было то, что отец двойняшек дядя Левон не был ни офицером, ни даже старшиной-сверхсрочником, а назывался «вольнонаемный» и ходил в странной одежде: в офицерских яловых сапогах, синих бриджах и полосатом гражданском пиджаке, под которым носил коричневую гарусную вязаную безрукавку, рубашку, длинные и острые уголки воротника которой загибались кверху, и серый галстук в белый горошек. Зимой он надевал сверху офицерскую шинель без погон или обычный полушубок, а на голову военную каракулевою, как у стоявших у мавзолея солдат, сизую ушанку без звезды, летом же появлялся в широких курортных брюках из сурового полотна, узкой тенниске, обтягивавшей его костлявые плечи, голубоватых от мела парусиновых туфлях на розовой резиновой подошве и белой фуражке с обтянутым материей большим квадратным козырьком. Все это вместе Мишке представлялось как бы обязательной формой для «вольнонаемного» и казалось таким же смешным и нелепым, как само слово «вольнонаемный» и весь дядя Левон с его кривоватым носом на темном, всегда плохо выбритом лице. Нормальным мужчиной Мишка считал, конечно, отца с его выскобленными тугими скулами и так же туго натянутым кителем, ну, еще, пожалуй, дядю Сеню Квитковского, тоже умевшего по любой грязи пройти своими сияющими сапогами со шпорами так, будто по воздуху перенесся, – ни пятнышка... И даже дядя Гриша Кац, хотя к нему Мишка давно привык, казался не совсем правильным – с его очками, узкими витыми докторскими погонами и всегда растрепанными полуседыми волосами, и дядя Федя Пустовойтов в вечно нечищенных сапогах и мятом кителе был тоже не совсем хорош...

Между тем с Левоном Оганяном офицеры – Мишка видел – обращались уважительно, и если отец утром, по дороге на службу, издали замечал идущего тоже к проходной дядю Левона, то обязательно останавливался, ждал, пожимал руку, а дядя Левон рассеянно гладил Мишку по голове – зимой прямо по шапке, – и дальше шли уже вдвоем, отец с дядей Левоном сразу начинали говорить о работе и на Мишку не обращали внимания.

А мать Оганянов тетя Леля выглядела как обычная жена офицера, только волосы у нее были удивительные – росли плотной толстой шапкой почти от самых черных широких бровей, а сзади были свиты в огромную косу, скрученную в большой крендель.

Тольку Оганяна все считали дураком, а Инку Киреев – не в глаза, конечно, а в разговорах с Мишкой – называл царапавшим Мишку всякий раз словом «приститутка» за то, что она не сильно отбивалась, когда ее лапал не только Вовка Сарайкин, но и вообще почти все мальчишки, кто хотел. Но Мишка в глубине души – не вступая ни с кем в спор – об Оганянах думал не так плохо. Ему казалось, что Толька не дурак, а просто слишком добрый и еще больше, чем сам Мишка, не может никому ни в чем отказать. Позвал его Генка Бойко на двери по

котловану плавать – он пошел, предложил Вовка Сарайкин подкрасться на перемене сзади к Ветке Кузьминой и юбку ей на голову задрать – он подкрался... И каждый раз ему доставалось больше всех. Вроде действительно дурак, но какой-то не такой, как, например, тот же Генка Бойко – самый безнадежный двоечник в классе и при этом настолько хитрый, что даже как-то Нину Семеновну умудрялся перехитрить, и она уговаривала всех предметников натягивать ему переходные тройки. Да и Инка... Мишке иногда казалось, что она просто теряет сознание, когда ее хватает Вовка Сарайкин или еще кто-нибудь. Она цепенела в том положении, в котором ее заставляли, сидя или стоя, и глаза у нее закрывались. Не то что Ветка, которая действительно, сколько ее ни обжимали, только лыбилась да еще и сама норовила на лестнице прижаться и потереться.

В общем, теперь, когда подошло время дня рождения Инки и Тольки, который им родители обязательно устраивали каждый год, Мишка собирался с удовольствием.

Мать дала на подарок пятнадцать рублей, и Мишка долго слонялся по военторгу, выбирая. В отделе игрушек он полчаса стоял, согнувшись над прилавком и рассматривая конструктор, о котором мечтали абсолютно все мальчишки, но которого, насколько Мишка знал, никому не купили – он-то и был в магазине всего один и уже год стоял в витрине прилавка. Конструктор назывался «Автомобили СССР» и представлял собой плоскую картонную коробку с гнездами. В гнездах лежали тяжеленькие даже на вид, литые, крашенные блестящими эмалями корпуса машин – голубой «Москвича-401», коричневый «Победы М-20», кремовый «ЗИМа ГАЗ-12», черный «ЗИСа-110» и еще один, неизвестной марки, с длинным узким капотом, короткой кабиной и покатым багажником, золотисто-зеленый, обозначенный в приложенной к конструктору бумажке как «спортивный». Неизвестность марки и то, что он никогда, даже в Москве, не видел такую машину на улице – хотя в такси «ЗИМе» и даже один раз в «ЗИСе» сам ездил, не говоря уж о «Победах», Мишку мучила не меньше, чем недоступность конструктора: стоил он девяносто рублей. В отдельных гнездах лежали два шасси с пружинными заводными моторчиками и колесами в шинах из настоящей черной резины, несколько маленьких болтиков, отвертка и заводной ключ. Вопреки реальности все корпуса были одного размера, и любые два из них можно было привинтить болтиками к шасси и запустить рядом по половице, как по улице. Мишке пришло в голову, что если такие машинки поставить во дворе на асфальтовую дорожку и с близости сфотографировать (фотоаппаратом «Любитель», который отец разрешает брать когда угодно, или трофейной «лейкой», которую может принести Киреев, а потом проявить пленку в круглом пластмассовом бачке, высушить на кухне и ночью на кухне же отпечатать фотографии, привинтив фотоаппарат к специальному штативу и превратив его таким образом в увеличитель), то на фотографии эти автомобили не отличишь от настоящих...

Потратив таким образом довольно много времени в военторге, Мишка ничего не выбрал, перешел через дорогу в книжный и там купил «Книгу водителя» – хороший подарок и для Тольки, и для Инки, из которого можно было извлечь много полезных сведений. Было там и как шалаш строить, и как искусственное дыхание делать изо рта в рот, и как запоминать многозначные числа. Книгу продавщица завернула в миллиметровую бумагу рыжей клетчатой стороной внутрь, так что получилось красиво.

А наутро в воскресенье Мишка сразу стал одеваться, хотя пригласили к пяти вечера – не маленькие уже, шестой класс.

Мать предложила надеть брюки навыпуск от формы и к ним пиджак от еще детского выходного, сшитого некогда в Риге во время отдыха, костюма, у которого были короткие, до колен штаны – за них в свое время, в четвертом и пятом классах, Мишка вытерпел много насмешек в школе, особенно от сельских мальчишек, кричавших «москвич, в голове кирпич!» и еще почему-то «африканец голожопый». Мишка пиджак померил, но рукава оказались ужасно коротки, едва ниже локтя, да и на груди одежда не сходилась. Мать собралась было рукава быстренько отпустить – было из чего, но Мишка решительно заявил, что ни пиджака,

ни форменных брюк не наденет, потому что посмешищем больше быть не желает. Вон Генка Бойко: когда только приехал из Львова, где раньше служил его отец, тоже ходил, как иностранец с картинки: брюки-гольф пузырями, на манжете под коленом, полупальто клетчатое с поясом... А теперь ходит как все нормальные мальчишки, потому что задрознили.

В результате надел Мишка практически то же самое, что носил каждый день: комбинированную куртку-бобочку и лыжные штаны-шаровары. Только под куртку мать велела надеть белую в голубую полоску вискозную рубашку, которую раньше носил отец с гражданскими брюками, когда в отпуске шли с матерью вечером гулять, а теперь она состиралась и Мишка подрос, так что только манжеты пришлось подвернуть, а воротник мать сама аккуратно выложила поверх куртки. Еще мать проследила, чтобы Мишка надел чистые и целые носки, чтобы разуваться не стыдно было, и Мишка, взяв «Книгу вожатого», в пятом часу вышел.

На маленькой площади перед центральной проходной, через которую ходили только офицеры и вольнонаемные, заключенных рабочих водили через дальнюю, восточную, Мишка подождал Киреева.

Оганяны, наверное, Киреева не звали бы, как не звали Вовку Сарайкина, Эдьку Осовцова, некоторых сельских ребят и вообще шпану. Но поскольку Мишка с Киреевым дружил, приходилось звать обоих. А Киреев, будто нарочно, оделся, как настоящая шпана: в своих любимых сапогах, из правого голенища торчит угол портянки, уши шапки отогнуты назад, но тесемки не связаны, так что правое ухо свесилось и болтается, как у зайца, перешитый из взрослого полушубок расстегнут, под ним расстегнутый же серый китель от формы, а под ним синяя сатиновая рубаха, и ворот тоже расстегнут, так что из полушубка торчит тонкая, красная от холода шея, – в общем, кошмар. Но подарок Киреев нес хороший: мать его дала большой шоколадный набор в красной коробке с оленем, это было вроде для Инки, а Тольке Киреев от себя тащил в кармане кучу альчиков – мировую битку, аккуратно просверленную и залитую свинцом, и пять штук обычных, тоже мировецких, крупных, ровных и гладко отполированных, подолгу уже иггранных. Альчики Киреев сам выиграл у сельских еще ранней осенью на пустыре за базаром, куда вообще-то ходить почти всем мальчишкам из городка родители запрещали.

Мальчишки шли, чтобы сократить дорогу – Оганяны жили в новых домах на восточном краю городка, там им недавно дали квартиру, а до того у них была комната в бараке, – вдоль заводской стены. За стеной носились, звеня проволочными поводками и коротко взлаивая, собаки, солдат на одной из вышек от скуки отдал пацанам честь и засмеялся во весь широкий рот.

Между собой Мишка и Киреев на ходу не разговаривали – дул сильный ветер, задувал в горло, и слов не было слышно, относил. Поэтому Мишка, как всегда, когда вокруг было неприятно – плохая погода, или скучный урок, или просто нечего делать, – стал придумывать себе жизнь.

Теперь он представил себе, что идет на день рождения одетым, как Роберт Колотилин, в клетчатом пиджаке и ботинках на толстой белой подошве, и вообще – что он и есть Роберт Колотилин, знаменитый футболист «Торпедо», и вот они с Киреевым приходят к Оганянам, он снимает пальто, и все видят, как он выглядит, и Нина стоит в дверях комнаты среди других девчонок, стараясь не смотреть на него... Тут он подумал, что тогда и Нина должна бы прийти не в школьном коричневом платье без фартука, а в ботинках-румынках с полоской меха по краю коротеньких голенищ, в чулках со швом, в черной короткой и узкой юбке со складкой сзади и в желтой шелковой блузке с широкими плечами – однажды он видел так одетую девчонку, это была подруга Марты, «завмаговская дочка», как с неодобрением назвала ее тетя Ада, когда девчонки уже убежали в кино, в «Центральный» на Пушкинскую...

Тут он вдруг вспомнил и дядю Петю, и настроение сразу испортилось. В последнее время ничего не напоминало ему о том неприятном и даже страшном, что было осенью: о рассказе Киреева, о ночном разговоре взрослых, о его ужасе и ожиданиях. Дома о дяде Пете и всей

московской семье Малкиных не вспоминали вообще, и Мишка тоже как-то отвлекся, не думал. Что-то мелькало, когда по радио говорили о разоблаченных космополитах и когда приносил почтальон новый «Крокодил», где были нарисованы жуткие морды с длинными и кривыми носами и подписи были тоже про космополитов и врачей-вредителей, но тут же неприятные мысли как-то рассасывались, расплывались. Длинноносые в «Крокодиле» не были похожи ни на дядю Петю, ни тем более на мать, а если и походили на кого-то из знакомых, то скорей как раз на дядю Левона Оганяна и еще немного на дядю Гришу Каца, но об этом Мишка тоже не думал, хотя дядя Гриша был к тому же еще и врач, и в госпитале, когда к нему приводили Мишку, был в белом халате поверх кителя.

И вот теперь, идя вдоль заводской стены и уже сворачивая, чтобы пересечь пустырь, за которым стоял новый четырехэтажный дом Оганянов, Мишка вдруг вспомнил.

Но тут Киреев отвлек его обычным своим дурацким разговором.

– А ты водку пил? – спросил ни с того ни с сего Киреев.

Мишка водки не пил, только один раз дядя Лева Нехамкин налил ему в чашку из-под компота шампанского, крайне неприятного напитка, – Мишка вообще никакой газированной воды не любил, от газа у него сразу начинал болеть живот, да еще несколько раз ему давали попробовать любимое всеми взрослыми вино «Шато-икем», тоже довольно неприятного, горько-сладкого вкуса. Кроме воспоминания о противной жидкости, которую трудно проглотить, никаких других воспоминаний от выпитого у Мишки не осталось. А как пьют водку мужчины, он видел довольно часто, не только на праздники. Иногда отец просто перед ужином наливал себе стопку, маленький граненый стаканчик, и выпивал одним глотком – это означало, что он устал больше обычного или у него неприятности. Водку наливал он из лилового резного графинчика, и Мишка знал, как эта водка делается: сначала отец наливал туда чуть голубоватый спирт, принесенный со службы в бутылке, заткнутой обрывком газеты, потом кипяченую воду из чайника, потом бросал туда шкурки от мандаринов, если была зима и дома были купленные к Новому году или оставшиеся с Нового года мандарины, или мелко нарезанное яблоко, или пару долек чесноку – и убирал графин в буфет, а когда через день или два доставал, чтобы выпить водки, то жидкость в стаканчик лилась уже желтоватая или зеленоватая.

Все это Мишка видел, как видел и последствия: уснувшего за столом дядю Гришу, дядю Леву, которого тетя Тоня уводит домой, а он никак не может влезть в шинель и пытается сесть на пол в прихожей, дядю Федю, которого тошнит в уборной, – но сам, надо было признаться, водки еще не пил.

– А ты пил? – ответил он раздраженно.

Киреев честно признался, что еще не пил, и сказал, что надеется сегодня выпить: когда родители Оганянов сядут вместе со всеми за стол, перед дядей Левоном обязательно поставят в графине их армянскую водку, желтую и вонючую, – Киреев забыл, как она называется, но знает, что это точно водка, ее Оганяны из Армении привозят, из отпуска, – а когда потом старшие Оганяны встанут из-за стола, чтобы не мешать детям, то водку оставят, и Киреев обязательно нальет себе и выпьет. Он и в прошлом году налил бы и выпил, но еще боялся, а теперь обязательно выпьет.

Мишка не знал, что на это ответить, пить водку дяди Левона он, наверное, не решится, но говорить об этом Кирееву не хотелось, однако отвечать ничего и не потребовалось, потому что они уже пришли.

Пришли они почти последними, хотя пяти еще не было. Все толпились в прихожей и в дверях комнаты, тетя Леля протискивалась, носясь из кухни с едой – с блюдами маленьких голубцов, завернутых в темно-зеленые виноградные листья, и с огромной супницей плова, обложенного оранжевой морковкой. Всякие свои армянские продукты Оганяны летом привозили из отпуска в огромных чемоданах и каким-то образом сохраняли до этого дня. Мишка и Киреев разделись и отдали свои подарки. Конфеты Инка, нарядная, в широком платье цвета

чайной розы и с распущенными волосами, сразу поставила на стол, а «Книгу вожатого» Толька немедленно принялся листать, приговаривая: «Железная книга, смотри, здесь про следы есть, в какую сторону человек шел, если он задом наперед шел!» – и все стали заглядывать в книгу, хотя у многих, Мишка знал, она уже была – ему самому мать купила еще в прошлом году.

Нина стояла в дверях комнаты – по обыкновению, рядом с Надькой. Как почти все девчонки, пришла Нина в форменном коричневом платье, но без фартука и с кружевной полоской на стоячем воротничке, только волосы причесала не так, как в школу: подняла косы и уложила их надо лбом полукругом, так что сиреневые банты пришлись над ушами. Мишка к ней, конечно, подходить не стал, затесавшись среди мальчишек, шептавшихся о том, как и где можно будет после покурить. Он рассматривал Нину издали и удивлялся, как всякий раз удивлялся, глядя на нее, почему не все замечают, какая Нина необыкновенно красивая и как похожа на киноартистку Целиковскую, только младше. Между тем красавицей Нина в классе не считалась, многим нравилась Инка, другие бегали за Веткой Кузьминой из шестого «Б», пораженные ее грудью, как у взрослой толстой тетки, ну и, конечно, все заглядывались на общешкольную красавицу десятиклассницу Гальку Половцову, которую, тут уж ничего не скажешь, и Мишка считал очень красивой, но к которой никто даже из десятых классов близко не подходил – всем было известно про Славку Петренко, который хотя и учился только в девятом, но был старше и сильнее всех десятиклассников, поскольку в войну много пропустил, и мог налупить любому. А отношения у Гальки со Славкой были почти официальные, каждый вечер они встречались или в драмкружке, где по роли Славка объяснялся Гальке в любви, или просто на танцах в клубе, где совершенно спокойно среди молодых лейтенантов и вольнонаемных машинисток и бухгалтерш танцевали падеспань и даже медленный вальс (раньше назывался «бостон») прижавшись.

Среди толпившихся в прихожей возвышался дядя Левон, невнимательно, по обыкновению, гладивший по головам тех, кто попадал под руку. Вдруг все затихли – из кухни вышел старший сын Оганянов, Гарик. Он всегда приезжал на день рождения младших – сдавал досрочно и отлично сессию в своем институте в Сталинграде и приезжал на целый месяц. Учился он в педагогическом на физмате, получал повышенную стипендию – Сталинскую почему-то не давали – и фигурировал в воспитательных разговорах многих матерей с сыновьями как безусловно положительный пример. Школу закончил три года назад с золотой медалью и поступил – правда, не в МГУ, как собирался, а всего лишь в сталинградский педагогический, говорили, чтобы учиться поближе к семье, но как-то об этом неуверенно говорили, а глупая Инка однажды проболталась, что в МГУ у Гарика не приняли, несмотря на медаль, даже документы, так что он только неделю проболтался в Москве, посмотрел, как строят высотное здание на Ленинских горах, и еле успел в Сталинград к собеседованию – и вот уже на третьем курсе учился без единой четверки, аккомпанировал институтскому хору на своем еще памятном всей школе розово-перламутровом аккордеоне «Вельтмейстер» и получил весной первый разряд по классической борьбе, готовился в мастера.

При этом, используя любую возможность, приезжал хотя бы на два дня домой – благо от Сталинграда действительно было близко, ходил с тетей Лелей на базар, на обратной дороге тащил тяжелые авоськи, учил Тольку бороться, а зимой ходил с братом и сестрой на каток за клубом, сам прикручивал к Инкиным чесанкам «снегурки» и катался с ней парой, держась за руки крест-накрест.

Мишке Гарик нравился, несмотря на то что и Мишкина мать нередко ставила его в пример, хотя таким, как Гарик, Мишка себя в мыслях о будущем никогда не представлял. Слишком Гарик был прост – ходил летом и зимой в клетчатой ковбойке и коричневых широких диагональных брюках, вытертых сзади до металлического блеска, носил старое полупальто-«москвичку» с лысоватым цигейковым воротником, из коротких рукавов которого высывались широкие мощные запястья борца, густые черные волосы с красноватым, как у меха

котика, оттенком стриг под полубокс и зачесывал гладко назад, но они разваливались крыльями на две стороны, образуя посредине головы нелепый пробор. К тому же Гарик носил круглые очки в черной оправе, которые снимал, только выходя на борцовский ковер. В общем, до Роберта Колотилина Гарику было далеко, а Мишка, в глубине души сознавая, что скорее через семь лет станет похож на Гарика – с его круглыми пятерками, очками и некрасивой прической, представлял себя все же Колотилиным.

Да и история с непоступлением в МГУ, так же как и неполучение Сталинской стипендии по каким-то загадочным причинам, Мишке – он и сам не знал, почему именно, – не нравилась. Каким-то образом эти истории портили Мишке настроение, когда он себя представлял взрослым, студентом, живущим отдельно от родителей, в общежитии, в Москве или, может быть, даже в Ленинграде.

Всех позвали к столу. Долго рассаживались, протискиваясь между столом, стульями и табуретками, Киреев, конечно, зацепил и чуть не стащил скатерть со всей посудой. Нина села в самом дальнем от Мишки углу среди девчонок, так что на нее и теперь было удобно смотреть. Разложили всем винегрет, и дядя Левон налил каждому в стакан или рюмку – что кому досталось – немного сизокрасного, с сильным кисловатым запахом вина из большой банки, и все стали тянуться, чтобы чокнуться с Толькой и Инкой. Мишка выпил вина, немного поел – по-настоящему он мог есть только дома – и стал смотреть, как едят другие. Многие чавкали и держали вилку в кулаке, и Мишка вдруг вспомнил мать, ее вечное «не хлюпай», когда он тянул из ложки суп, ее подслеповатый высокомерный взгляд, ее сшитые в Москве и Риге платья, нелепо выглядевшие в городке... Громче всех чавкал, разумеется, сидевший напротив Киреев, поедая маленькие голубцы с красивым названием «толма» – Мишке пришел в голову толмач из истории СССР! При этом Киреев все пытался незаметно дотянуться до банки с вином, надеясь, видимо, как-нибудь налить себе еще, и строил рожи Мишке – давай, мол, не теряйся. А дядя Левон с Гариком действительно пили сильно пахнущую гнилым желтую водку из другой, маленькой банки и каждую стопку закусывали белым соленым сыром, оборачивая в ломоть сыра ветку темно-зеленой, лиловой с изнанки травы.

Потом пили чай с «наполеоном», который дядя Левон в шутку называл «бонапартом», а потом сдвинули стол в сторону, принесли большой голубой патефон с выдвижной плоской трубкой и принялись выбирать пластинки для танцев. У Оганянов пластинок было много, не только Апрелевского завода, на красных или голубых наклейках которых была кремлевская башня, но и довоенных польских, по черным наклейкам которых шли золотые мелкие надписи иностранными буквами. Начали ставить, конечно, польские и не пошли дальше фокстрота «Воскресенье», девчонки принялись танцевать, как говорил дядя Левон, шерочка с машерочкой, а мальчишки стояли вокруг патефона и слушали голосовой квартет и резкие медные проигрыши оркестра.

Тут Киреев и осуществил давно задуманное: за спинами пролез к столу, быстро в первый попавшийся стакан налил на треть желтой водки и, спеша, давясь и пуча глаза, ее проглотил в два глотка. Впрочем, видимо, он к этому хорошо готовился, присматривался к взрослым, потому что еще успел и приготовить стакан с компотом, так что не закашлялся, а сразу водку запил. Проделав все это действительно мгновенно – не успел кончиться оркестровый проигрыш, Киреев сделался страшно важный и снисходительно кивнул Мишке, дескать, подходи, устрой и тебе.

И, конечно, Мишка поддался. Он протиснулся к столу за спинами мальчишек, рассматривавших пластинки, вынимая каждую из тонкого полупрозрачного бумажного конверта и держа за ребро, так же быстро, как Киреев, налил водки – правда, в свой стакан, который запомнил, и не на треть, а почти до половины – и выпил, показав Кирееву, что и он знает, как полагается: резко выдохнул, как делал дядя Сеня, и почти всю водку, чуть-чуть на дне осталось, проглотил за один раз.

Ничего особенного, кроме легкого ожога горла, а потом и желудка, он не почувствовал. Киреев показал большой палец, но Мишка демонстративно от него отвернулся, подумаешь, он еще будет хвалить... Девчонки всё танцевали, теперь уже под танго «Брызги шампанского» в исполнении оркестра радио комитета п/у Варламова, причем кто-то – кажется, неутомонный Киреев – тихо и фальшиво пел: «Новый год, порядки новые, колючей проволокой наш лагерь окружен», и Мишке в голову вдруг пришла странная идея. Нина танцевала с Надькой, Надька вела, а Мишке стало как-то обидно, не то чтобы он обиделся на Нину, но вообще на всех вместе, никто не знал, что еще совсем недавно они с Ниной сидели у Вальки и трогали друг друга где угодно, и Мишка бы умер, если бы кто-нибудь узнал, но в то же время ему хотелось, чтобы об этом знали все, а он с Ниной мог танцевать, прижимаясь, как танцуют, например, дядя Лева Нехамкин с тетей Тоней или Славка Петренко с Галькой Половцовой, а потом уйти вместе домой, чтобы у них был общий дом и он снимал сапоги деревянной рогулькой, а Нина подставляла эту рогульку и сердилась, что Мишка не может вставить в нее сапог, промахивается...

И, расстроенный этими мыслями, Мишка решил осуществить свою странную, но теперь казавшуюся ему абсолютно правильной идею: он раздвинул начавшую качаться – видно, все напились желтой водки дяди Левона – толпу мальчишек и пригласил на вальс «Сказки Венского леса» в исполнении духового оркестра краковских пожарных Инку Оганян, которая как раз стояла одна в углу и обмахивалась рукой. Они пошли танцевать на «раз-два-три», которые Мишка все время проговаривал про себя, и получалось очень хорошо: Мишка ни разу не сбился, вовремя выносил назад ногу при поворотах и вообще выглядел ничуть не хуже какого-нибудь суворовца, бал которых и танцы показывали в киножурнале. Один раз, правда, он споткнулся об Инкину ногу, но Инка несколько не обиделась, за что Мишка ее поцеловал. После этого Гарик и дядя Левон взяли Мишку за плечи и под коленки и зачем-то положили на кровать дяди Левона и тети Лели в другой комнате, с которой Мишка не мог встать, потому что она наверняка была с панцирной сеткой, и эта проклятая сетка проваливалась, когда Мишка ворочался и пытался подняться, и, поняв, что с нею не справиться, Мишка смирился и заснул.

Ему приснилось, что вошла Нина и за что-то ударила его кулаком по лбу, было совсем не больно, но Мишка чуть не заплакал, почти заплакал, но сдержался. Потом ему приснилось, что пришел Киреев, помог ему выбраться из проклятой сетки, они пошли в прихожую, где долго обувались, а Гарик смотрел на них сверху, и Мишка снизу посмотрел на Гарика, и, встретившись с ним глазами, Гарик негромко, но очень внятно сказал: «Не пей больше, Миша, теперь у тебя жизнь будет трудная, а будешь пить – пропадешь», но Мишка тут же забыл эти слова, а запомнил только, что теперь будет плохо, и как-то сразу понял, что «теперь» означает «когда нет дяди Пети», но потом забыл и это. Еще ему приснилось, как они с Киреевым идут домой, Киреев делает крюк, чтобы проводить его, Мишку, хотя Мишке это совершенно не нравится, он хотел бы идти домой один и вспоминать Инку Оганян, Гарика и его слова, лицо Нины, каким оно было, когда Нина приснилась ему, и музыку «Брызги шампанского», но Киреев не отстаёт, да еще все время говорит «стой, давай поссым», как он надоед, Мишка хочет спокойно спать, чтобы не мешали ему ни Нина, ни Киреев.

И он наконец засыпает, хотя и в этом сне ему снится кошмар: над ним стоит отец и говорит такое, чего Мишка никогда наяву от него не слышал, – «скотина», вот что говорит отец, отворачивается и уходит из Мишкиного сна.

Глава восьмая. День памяти Ленина

На торжественную линейку строилась вся школа, поэтому, пока не уgomонились в ровных рядах, шум и теснота в широком коридоре второго этажа были страшные, несмотря на шиканье учителей: «С ума посходили, орете в такой день, перестань толкаться, Сарайкин, сейчас за родителями пойдешь!», и Мишка, забыв все свои неприятности, толкался вместе со всеми, незаметно пихал выстроившихся девчонок, так что валилась вся шеренга, и подставлял ногу бестолково носившимся малышам. В гаме и суете весь этот ужас – отец не разговаривает, мать то обзывается, то тихо плачет на кухне, Нина не смотрит, а когда он попытался, дождавшись за углом после уроков, пойти рядом, вдруг рванула с места и побежала, так что и догонять ее, бежать за девчонкой по улице, как дураку, не было никакого смысла – все не то чтобы забылось, но затихло, как затихает зубная боль, если чем-нибудь заняться или придавить зуб, только ноет понемногу...

А уж вся история с дядей Петей, страшным ночным разговором взрослых и ожиданием малолетней колонии вовсе исчезла из головы, было не до этого, а малолетняя колония теперь если и вспоминалась, то в гораздо более реальной перспективе – во всяком случае, утром после того проклятого дня рождения мать сказала о колонии вполне всерьез.

С Киреевым водиться было запрещено настолько решительно, что нарушить запрет представлялось совершенно невозможным, да и сам Киреев не подходил – ему дома за всю историю с Салтыковым, в которой роль Киреева стала каким-то образом родителям известна, устроили такое, что он два дня в школу не ходил, а пришел с запиской от отца, и Нина Семеновна отсадила его одного на последнюю парту, а Мишку посадила к Эдьке Осовцову на вторую парту в ряду у двери, где до этого спортсмен сидел один – ему вдвоем за партой было тесно, он из-за своих размеров даже крышку парты держал всегда открытой. А замечательное место у окна с молчаливого Нины Семеновны согласия заняли Генка Бойко с Толькой Оганяном и уже нашли тайник.

Наконец построились.

На середину вышел директор Роман Михайлович и начал говорить о том, какой сегодня день в жизни трудящихся всего мира, о страданиях свободолюбивого южнокорейского народа под властью марионетки Ли Сын Мана, о кровавой клике Тито – Ранковича и о том, что дети трудящихся всего мира никогда не забудут великого Ленина и будут жить и учиться так, как призывает великий ученик великого Ленина, вождь и учитель советского народа-победителя великий товарищ Сталин.

Мишка стоял в шеренге своего шестого «А» третьим по росту, после Эдьки Осовцова и Вовки Сарайкина, смотрел на директора и видел, что директору стоять неудобно. Произнося речь, Роман Михайлович еле заметно двигался, переступал с ноги на ногу, поворачивался и потихоньку перемещался в сторону, одновременно поворачиваясь к шеренгам школьников боком. Такое поведение директора Мишка никак объяснить не мог и задумался, что это могло бы означать. Могло, конечно, быть, что Роман Михайлович вчера сильно выпил, а утром в своем директорском кабинете быстренько налил в стакан, стоявший возле графина с тонким горлом, до половины водки из шкалика «красной головки» – такое бывало, некоторые, не вовремя сунувшись в кабинет, сами видели, – и быстро выпил, чтобы, как говорил дядя Федя, поправить прицел. Но что-то Мишке подсказывало, что сейчас дело не в этом и ничего Роман Михайлович не пил... И вдруг Мишка понял! Начав говорить, директор стал точно перед серединой строя, и оказалось, что большой белый бюст товарища Сталина, установленный на обтянутом красной материей постаменте, смотрит прямо в спину директора. И от этого Роман Михайлович чувствует себя неловко, как всякий человек, повернувшийся к старшему спиной, да и вообще – неловко, когда тебе кто-нибудь пристально смотрит в спину, даже если

это и не товарищ Сталин. И вот теперь Роман Михайлович пытается исправить положение – чтобы и от школьников не отвернуться, и к товарищу Сталину спиной не стоять.

Как только Мишка до этого додумался, а Роман Михайлович наконец встал и к строю, и к бюсту вполоборота, линейка кончилась. В день памяти Ленина уроков не полагалось, и все, под шиканье учителей и потому без большого шума, посыпались в раздевалку. Мишка оделся и в распахнутом пальто – с утра сильно потеплело, начало таять, будто уже скоро весна, – вышел на школьное крыльцо.

На крыльце стоял Киреев.

Мишка ничего Кирееву не сказал, и Киреев ничего не сказал Мишке – просто постояли рядом минуту или две, а потом, все так же не разговаривая друг с другом, спустились с крыльца и пошли по улице в сторону клуба.

В клубе было пусто, дежурный старшина дремал, откинувшись на стуле рядом с тумбочкой, перед покрашенными серебрянкой бюстами Ленина и Сталина, стоявшими по обе стороны двери в зрительный зал, были аккуратно выстроены корзины новеньких искусственных цветов из красного шелка с листьями из зеленой жатой бумаги. В пустом вестибюле гулко отдавались шаги, из спортзала доносились удары и приглушенные восклицания. Ничего не обсуждая, Мишка и Киреев на цыпочках проскользнули мимо старшины, сняли на ходу пальто и, держа их в руках, приоткрыли высокую дверь в спортзал, просочились и застыли у самой двери.

В спортзале тренировались борцы.

Это была обычная тренировка сборной городка, которую решили, видно, не отменять, хотя в день памяти вообще-то тренироваться не следовало. Но сборную по борьбе в городке любили, на окружных соревнованиях она всегда занимала первое место, и полученными ею грамотами был обвешан весь клуб, так что нарушение торжественности дня борцами должно было бы сойти как бы незамеченным.

Человек шесть мужиков с покатыми тяжелыми плечами и выпуклыми загривками, в черных линиялых трико и старых ободранных борцовках, в основном солдаты-строители, прыгали через скакалки, приседали с круглыми блинами от штанги на плечах, один становился на мостик, второй садился ему на живот, и нижний отжимался... Командовал известный Мишке и Кирееву старший лейтенант из охраны по имени Али Николаевич, немолодой азербайджанец с жестким седым ежиком на круглой голове, в сатиновых шароварах и вытянутой майке на оплывшем книзу, густо заросшем черным волосом торсе.

Мишка и Киреев стояли тихо, может, Али Николаевич их и заметил, но ничего не сказал. Пахло в спортзале ужасно.

Двое начали бороться – полутяж и средневес. Оба были волосаты, стриженные нулевкой головы отливали оружейным металлом, все борцы были земляками Али Николаевича. Полутяж почти сразу стал в партер, а средневес, ползая вокруг противника и громко, как-то горестно вздыхая, начал его дожимать, зацепляя шею в кольцо и бросая, коротко встряхивая кистями и опять смыкая их на затылке стоявшего на четвереньках.

Тут Киреев вдруг довольно сильно толкнул Мишку в бок, Мишка хотел дать сдачи – нашел, дурак, где толкаться, чтобы выгнали! – но Киреев все так же молча показал в дальний угол спортзала. Мишка проследил направление, указанное кривым, до последней возможности обгрызленным ногтем, и увидел Гарика Оганяна.

Гарик лежал на самом верху высокой, под потолок, стопки матов и, свесив голову, смотрел на тренировку.

В тот момент, когда мальчишки отвлеклись, произошло самое важное: полутяж вырвался из кольца, вскочил из партера, рухнул на средневеса, мгновенно захватил его руку и, почти без усилия перевернув на спину, прижал лопатки к съехавшему крупной складкой коврику. Бросившие тренироваться и стоявшие вокруг борцы загомонили.

В это же мгновение Гарик с тихим стуком спрыгнул на пол, и мальчишки увидели, что он тоже в трико и борцовках – новеньком густо-синем трико и шикарных белых борцовках. Трудно было поверить, что это тот же самый Гарик, которого привыкли видеть в старой ковбойке и нелепых, широких, как юбка, штанах.

Гарик снял очки, оглянулся, прищурившись, прошагал по периметру спортзала к двери и сунул очки Мишке со словами «подержи аккуратно». Мишка не успел даже ответить, а Гарик уже подошел к Али Николаевичу вплотную и о чем-то очень тихо заговорил с ним. Борцы смолкли, они не обернулись к Гарику, все еще стоя вокруг ковра и глядя, как поднимается, разминая шею, полутяж, как, полежав секунду с прикрытым согнутой в локте рукой лицом, выгибается и, толкнувшись затылком, пружиной взлетает средневес...

Али Николаевич слушал Гарика, наклонив седую голову, глядя в пол и крепко сцепив за спиной руки в замок. Дослушав, он постоял так еще какое-то время, потом кивнул, громко, на весь спортзал, сказал «давай, студэнт» и, обернувшись к борцам, нашел глазами полутяжа – тот все еще крутил головой, разминая намученную средневесом шею.

– Магомэдов, – окликнул его Али Николаевич, – со студэнтом поработать хочишь, нэт? У нэго второй срдний...

Магомедов, которым оказался полутяж, высокий, очень длиннорукий и худой для борца своего веса парень, молча вышел на середину ковра. Гарик пару раз присел, сцепил руки в замок над головой, покачался из стороны в сторону и, в один шаг впрыгнув на ковер, подал Магомедову руку. Но тот руки не заметил и уже пошел по ковра кругом, чуть присев и наклонившись вперед, неотрывно глядя на Гарика.

Мишка сразу покрылся потом, что-то сдвинулось в нем и встало в груди, он уже ничего не видел, кроме двоих молодых мужчин, готовившихся сцепиться.

Гарик тоже пошел по кругу, но он не приседал и не наклонялся, а, наоборот, немного откидывал корпус назад, разведя руки и как бы приглашая Магомедова в объятия. Они сделали один круг, второй...

Борцы, встав плотным рядом, заслонили от Мишки и Киреева ковер, и мальчишки, стараясь двигаться бесшумно, подошли поближе, встали сбоку, на них никто не обернулся.

Магомедов нырнул вперед и длинными своими руками рванул разведенные руки Гарика, крутнулся – и повалил Гарика на пол, повернувшись к нему спиной, лег на него и стал давливать, прижимать, и лопатки Гарика едва не коснулись ковра, но он успел стать на мост. Продавливать мост Магомедов не стал, отскочил, снова, присев и согнувшись, пошел по кругу, а Гарик уже спружинил и ждал. Магомедов снова кинулся, но на этот раз проскочил головой под правой рукой еле заметно шагнувшего в сторону Гарика, тот успел взять шею Магомедова сверху в замок, навалился – и поставил Магомедова в партер.

В зале висела тишина, пыхтение и хрип борющихся были слышны, казалось, на весь город. Киреев, переминавшийся от волнения с ноги на ногу, будто ему приспичило в уборную, не выдержал, снова толкнул Мишку, прошептал «слышишь, как пердят?», но Мишка только отмахнулся от дурака – известно без него, что происходит с борцами от напряжения.

И тут случилось главное.

Гарик на секунду освободил шею Магомедова, Магомедов начал распрямляться – и в мгновение Гарик поднырнул под него, захватил снизу оторвавшуюся от ковра левую руку, дернул, опрокинул Магомедова спиной на ковер, перебрósился через него всем своим телом и с тихим гортанным криком-выдохом прижал лопатки впустую извивавшегося противника к ковра. Какое-то время, показавшееся Мишке очень долгим, они так лежали, крестом, потом Гарик поднял голову и, обращаясь к Али Николаевичу, сказал одно слово, непонятное, Мишка догадался, что от волнения Гарик обратился к Али Николаевичу по-армянски! И уж совсем удивительно: Али Николаевич понял! Он махнул рукой, тихо что-то пробормотал тоже не по-

русски и, сделав несколько шагов в сторону, присел на стоявшую у стены низкую длинную скамью.

Гарик встал. Магомедов лежал на спине, закрыв глаза и широко раскинув руки. Гарик склонился к нему, тронул за плечо, взял за руку, сказал громко в тишине:

– Вставай, брат, спасибо тебе.

А что было потом, Мишка вспомнить точно не мог.

Кажется, Магомедов вскочил, кажется, в руках у него как-то оказался маленький блин от штанги, кажется, подняв его над головой, он замахнулся на Гарика, кажется, Гарик перехватил руки, сдвинул, заломил над головой Магомедова назад, и блин со страшным грохотом рухнул позади Магомедова, среди расскочивших в стороны борцов, и закрутился на полу, волной поднимаясь и опускаясь на ребре, кажется, Али Николаевич уже держал Магомедова сзади и тащил от Гарика, кажется, другие борцы начали Гарика окружать, и все кричали – наверное, по-азербайджански, а Гарик отступал к матам и вдруг, почти без толчка и не оборачиваясь, спиной вперед, вспрыгнул на эту высоченную, метра в полтора, стопку матов и встал там, головой почти под потолок зала, а Али Николаевич, крича по-азербайджански и толкая то одного, то другого, выпихивал из зала своих борцов, и они, оглядываясь, выдавились в раздевалку, Магомедов шел в середине, и никто так и не заметил мальчишек, будто они были невидимыми, а Гарик спрыгнул, уже каким-то образом оказавшись одетым, с мешком в руке, взял у Мишки очки – и через минуту они, Гарик, Мишка и Киреев, уже стояли на площади, дул теплый, пахнувший сыростью ветер оттепели, и казалось, что никакого спортзала нет вообще – и не было.

Они прошли вместе мимо забора, которым в последние дни обнесли котлован строящегося Дома офицеров, и остановились – от этого места Мишке было прямо, Кирееву налево, к финским домам, а Гарика направо, вдоль стены завода, к новым четырехэтажным. Гарик молча подал руку Кирееву и Мишке, повернул уже было, чтобы пересечь улицу и уйти по тропинке вдоль стены, но Мишка решил и спросил его все-таки.

– Чего это он? – спросил Мишка. – Это ж спорт... Он же кандидат в мастера, подумаешь, один раз на тренировке ты его положил... Он же убить мог блином, да?

Гарик внимательно посмотрел на Мишку сквозь очки, потом переложил мешок с трико и борцовками, стянутый веревкой, в левую руку, правой снял очки и, наклонившись к Мишке, близко заглянул в его глаза темными, без зрачков, глазами.

– Он перс, Миша, понял? – сказал Гарик, и Мишка услышал, что он немного задыхается, будто еще не отошел после борьбы. – Он мусульманин, понял?

– Не понял, – честно ответил Мишка. – Персы – это же в истории, а он же...

Гарик выпрямился, махнул рукой, надел очки, повернулся и пошел в свою сторону. Веревку мешка он перекинул через плечо, мешок при каждом шаге слегка шлепал сзади по старой «москвичке», а широкие брюки полоскались на ветру, а лыжную шапочку, мыском сходящую на лоб, которую Гарик всегда носил зимой, он на ходу стянул и сунул в карман.

– Гарик! – окликнул его Мишка. – Гарик, ну почему?!

Но Гарик только снова махнул рукой, не оглядываясь.

Глава девятая. Болезнь

Температура уже была нормальная, но дядя Гриша велел пока лежать в комнате с занавешенным окном, потому что корь Мишке в его возрасте опаснее, чем малышам, и от осложнения может еще ухудшиться зрение. И читать, конечно, тоже было нельзя, так что Мишка целый день валялся с закрытыми глазами, думал, скручивал, ворочаясь, простыню, нудил, чтобы мать почитала что-нибудь вслух, как маленькому, но мать отказывалась и вообще заходила в комнату редко и старалась к Мишке не подходить – взрослые от кори могут даже умереть. А спать мать с отцом перебрались в комнату дяди Федя, пропадавшего, как всегда, в командировках.

От тоски Мишка сломал нечаянно термометр, ртуть вылилась на пол, и мать долго собирала ползающие шарики в спичечную коробку, а потом эту коробку выпросил Мишка и положил за кровать: он собирался, выйдя после болезни, упросить одного знакомого солдата, который за рубль заливал биты для альчиков свинцом, сделать жульническую битку – высверлить дырку, залить туда ртуть, заткнуть дырку маленькими камешками, а сверху уже залить свинцом, чтобы на вид была битка как битка. Всем было известно, что битка с ртутью летит ровнее и сильнее бьет, но распознать такую жульническую битку было трудно, а если возникали сомнения и назревала проверка с расковыриванием свинца, всегда можно было ртутную битку к следующей игре подменить нормальной, а про ртутную сказать, что зафинтилил и не можешь найти. У самого Мишки ртутной биты, правда, никогда не было, но Киреев играл такой всю прошлую весну, пока действительно не зафинтилил, и она как сквозь землю провалилась где-то в полины.

А пока Мишка доставал время от времени из-за кровати спичечную коробку с аэропланом и почему-то английской надписью *SAFETY MATCHES* – Мишка спрашивал у англичанки Эльвиры Ивановны и узнал, что надпись переводится «безопасные спички», – и, открыв, рассматривал расползающуюся неровной лужицей и тут же, от малейшего движения руки, сбегющую в ровный шарик ртуть. Мать, застав его за этим занятием, требовала, чтобы он коробку немедленно закрыл, а то опять придется ловить шарики по всему полу и выискивать в длинных пестрых тряпочных половиках, что почти невозможно, но Мишка смотрел на жидкий металл «как загипнотизированный» – по выражению матери. Вид блестящих, тяжело перекатывающихся, удлиняющихся и вдруг дробящихся капель действительно приковывал Мишкин взгляд, возникало странное чувство покоя, и одновременно что-то начинало Мишку дергать, покой хотелось нарушить, прервать созерцание, и Мишка едва сдерживался, чтобы не вытряхнуть капли на пол. Мишка задвигал коробку, клал ее за кровать и снова лежал с закрытыми глазами, думал.

Он думал о Нине, которая заболела на неделю раньше и сейчас уже просто сидела дома на карантине, читала, наверное, книги по всей программе до конца года и занималась алгеброй, чтобы до конца третьей четверти исправить свою тройку. Она была вообще старательная да еще жутко боялась своего отца Бурлакова.

С Ниной Мишка уже давно помирился, демонстративно перестав вообще замечать Инку Оганян. Как раз накануне того, как в школе началась корь и Нина заболела среди первых, они с Мишкой ходили гулять за проходную городка. Солдат для порядка проверил их школьные билеты и, конечно, подмигнул Мишке – Нина, к счастью, не заметила. Они вышли на проселок, снег с которого сдуло, и открылась глубокая колея, ограниченная с двух сторон высокими, замерзшими до каменной твердости острыми глиняными хребтами. В колею идти было неудобно, узко, но они шли, каждый в своей, держась за руки, которые для этого пришлось вытянуть во всю длину. Потом сзади стали слышны стук и хрип мотора, они расцепили руки, отступили и встали на замерзшие кочки по сторонам дороги, и, подпрыгивая и едва не валясь на бок, с жутким громом и дымом проехал «Урал-ЗИС» с рваным, хлопающим брезентовым

тентом на железных, поднятых над кузовом ребрах, с газогенераторной печкой у кабины и высокой, загнутой вверх трубой, из которой валил голубой дровяной дым. Когда машина проехала, Мишка перелез к Нине, на ее сторону дороги, и они свернули на давно заброшенное картофельное поле, по которому весной и осенью не то что человек – танк не прошел бы, увяз, над которым летом стояли тучи пыли, но сейчас идти, перебираясь с кочки на кочку, было возможно.

Небо низко лежало над полем, и сизые, железного цвета тучи на горизонте ползли прямо по кочкам. Справа виднелись низкие крыши сельских домов, сбившиеся в кучу, как смешанные кем-то на доске шашки, над ними возвышался кирпичный цилиндр средней части сельского клуба, цилиндр был покрыт тускло блестящими жестяными листами конусом. Когда-то, когда квартиру еще не дали и Салтыковы жили в селе, снимая полдома, Мишка бродил сзади клуба и в глубокой яме обнаружил странную вещь: это был скелет из полусгнивших балок, как бы каркас гигантского шлема. Тогда Мишка был еще маленький, только пошел в школу, сам читать не любил, хотя уже умел, и мать как раз читала ему вслух по вечерам «Руслана и Людмилу». И Мишке, конечно, представилось, что это валяется остов шлема, принадлежавшего когда-то говорящей голове. Ужас охватил его, он примчался домой и, захлебываясь, рассказал матери, что видел. Но мать не испугалась и даже не удивилась, а коротко и не очень понятно объяснила Мишке, что клуб раньше был церковью, в ней молились Богу неграмотные деревенские старики и старухи и цилиндр был покрыт не жестяными листами, а куполом, остов от которого Мишка и нашел. Мишка почти ничего не понял ни про Бога, ни про церковь с куполом, которой раньше был клуб, но успокоился, интерес к находке потерял и, когда через несколько дней пошли в клуб смотреть трофейную картину «Багдадский вор», о страшном скелете не вспоминал уже.

Позади осталась колючая проволока, которой были обнесены городок и маленький, серого кирпича домик проходной с палочкой шлагбаума.

А прямо и влево расстилалось поле с черными плешинами кочек на сером снегу, а там, где поле кончалось, тянулась низкая, с неровными зубьями гребенка лесополосы, за которой, Мишка знал, проходит железная дорога, а уж за дорогой начинается просто степь.

Они долго шли молча, а потом Нина вдруг впервые заговорила о том, что было у нее дома тогда, ночью, когда Бурлаков встретил их в подъезде и унес ее под мышкой.

– Он не знал, что я знаю, а мне мать давно сказала, что он неродной мне. – Вокруг было пусто, и Нина говорила громко, но в пустом сером воздухе слова ее как-то гасли, а шли они, прыгая по кочкам, то немного сближаясь, то расходясь, и Мишке приходилось напрягаться, чтобы услышать, он даже отвернул и связал сзади уши шапки. – Отца на войне убили, а я тогда еще не родилась, а он учился в Одессе в училище, познакомился с ней и женился, когда она... – Нина запнулась и с заметным трудом выговорила неприличное слово: —...была беременная. А он всегда был со мной, как настоящий отец...

В ту ночь Бурлаков хотел бить Нину ремнем, но мать не позволила, а Бурлаков носился с ремнем по всей квартире, разбудил младшую Нинину сестру Любку, которой было четыре года, и она сразу заревела, а Бурлаков все орал, так что, наверное, соседи слышали, и Нине стыдно было наутро идти в школу, а мать кричала, что Нину нельзя бить, потому что она уже большая, но Бурлаков никого не слушал и все замахивался через стол ремнем, так что в конце концов разбил лампочку, на всех посыпались осколки, и в темноте Нина крикнула ему, что он не может ее бить, потому что он ей никто. И с тех пор Бурлаков с ней вообще не разговаривает, хотя прошло уже столько времени, и мать, Нина слышала, стыдит его за то, что он взрослый, а обиделся на ребенка, а тут Мишка еще полез к Инке, когда у Нины теперь такая жизнь...

Мишке было очень жалко Нину, он вдруг отчетливо представил себе, что было бы, если б он узнал, что его отец ему не отец. Он перепрыгнул на кочку поближе к Нине и, не снимая варежки, взял и потянул ее за руку. Нина остановилась и повернулась к нему. По щекам ее,

еле видным из-под повязанного поверх берета пухового серого платка, ползли слезы, оставляя светлые, ртутноблестящие дорожки на покрасневшей от холода коже. Мишка перебрался на одну кочку с ней и поцеловал ее, найдя губами маленький промежуток между платком и носом, и попал как раз в слезы. Они долго стояли посреди пустого бело-черного бугристого поля и целовались, держась за руки, чтобы не свалиться с кочки, и не обнимаясь, потому что обниматься, не расстегивая пальто, было неудобно, а расстегиваться на холодном и все усиливающимся ветру не хотелось – сразу замерзнешь.

Теперь Мишка лежал в теплой и полутемной комнате, думая о Нине, а над ним двигалось черно-сизое предснежное небо, вокруг разворачивалось, уходя во все стороны к горизонту, серо-белое поле с черными бугристыми плешинами, а по полю шел к Мишке Нинин отец Бурлаков в морской черной шинели, и Мишка понимал, что Бурлаков и его отец тоже, а Мишкин отец ехал мимо в «газике» с хлопающим, взлетающим и опадающим брезентовым верхом, были видны его профиль, глубоко надвинутая новая ушанка из голубоватой офицерской цигейки, которую он вчера получил и принес домой вместе с отрезом на новый китель, кроем на сапоги и набором из нового ремня и портупеи, поблескивающих темно-коричневым блеском, часто простроченных, больно ударяющих, если неловко возьмешь, тяжелыми латунными пряжками – большой со звездой и маленькой, с вертящейся трубочкой, а за отцовским профилем видны были профиль дяди Пети, его зеленая велюровая шляпа, глубоко надвинутая на уши, и высоко поднятый большой каракулевый воротник зимнего пальто, а в глубине машины, Мишка знал, едет мать в клетчатом черно-зеленом жестком деревенском платке, повязанном для тепла поверх маленькой модной шляпки-«менингитки», и они все вместе удаляются от Мишки, уезжая на курорт Рижское взморье, где отец опять будет жить в военном санатории в Лиелупе, а мать – в светлой комнате, снятой у знакомых латышей – дяди Ивара, работающего в санатории шофером на молоковозке, и тети Лины, уборщицы в столовой, а дядя Петя будет спать на узкой кровати у большого окна, где всегда спит Мишка, и вечером все пойдут ужинать в ресторан в Дзинтари, напротив большого деревянного летнего театра, и там официант, высокий седой старик в черном пиджаке с шелковыми лацканами и в галстук бантиком, будет называть мать «мадам», отчего отец будет морщиться и крутить головой, а утром на веранде столовой молодежь поставит стол для пинг-понга и, может быть, Мишку пустят в очередь играть.

Когда Мишка проснулся, в комнате было совсем темно, значит, стемнело за занавешенным окном. Мишка некоторое время полежал, вспоминая сон, но вспомнил только отца в ушанке, старого официанта, темно-зеленый стол для пинг-понга из двух половинок, положенных на козлы, и красную пупырчатую резинку, отклеившуюся с края Мишкиной ракетки, которую в прошлом году ему купил дядя Петя в магазине «Динамо» на улице Горького. Но вспомнить, что там, во сне, происходило и какая между всем этим была связь, Мишка не смог. Он еще немного полежал, а потом позвал мать – захотелось есть. Он решил попросить, чтобы мать сварила кашу-размазню из гречневой сечки, которую Мишка очень полюбил с позапрошлого года, когда в Москве, будучи дома вдвоем с Мартой, по ее недосмотру отравился, съев сразу полную масленку шоколадного масла с тремя французскими булками, приехала скорая помощь, поили Мишку насильно розовой водой с марганцовкой, потом его долго рвало, сутки ему не давали есть ничего, а потом кормили этой размазней на воде, и Мишка ее очень полюбил.

Мать не ответила, и по тишине, стоявшей в квартире, Мишка понял, что он дома один. Мать, наверное, ушла, пока он спал, к тете Тоне или к тете Розе – переснимать выкройки или просто трепаться, как говорила она вечером отцу, рассказывая, как прошел день.

Мишка слез с кровати, надел зимние тапочки из кроличьего меха на лосевой подошве, такие на всю семью купили осенью на базаре у кустаря, и пошел на кухню, собираясь отрезать там кусок черного хлеба, посыпать его солью и съесть, запивая холодной кипяченой водой,

которая обязательно должна быть в чайнике. Мать, конечно, будет ругаться, когда увидит, что Мишка ел хлеб с водой, но есть очень хотелось.

На кухне все было убрано, блестел вымытый и начищенный керогаз, а клеенка, покрывавшая стол, была перестелена так, что образовавшихся на углах дырок не было видно. Мишка снял белую тряпку, которой была укрыта стоявшая на подоконнике кастрюля с хлебом, и, отодвинув ситцевую полосатую занавеску полки, хотел взять хлебный нож, но тут увидел на полке конверт, которому на кухонной полке было совершенно не место. Мишка взял нож, а конверт сунул в карман пижамы, решив потом его рассмотреть и, если какая-нибудь интересная, отклеить марку, чтобы выменять потом у Киреева, который марки собирал давно и серьезно, на что-нибудь хорошее. Он отрезал хлеба, посолил его через край низкой граненой солонки сплошь, так что сверху кусок стал совершенно белым, налил в большую отцовскую чайную чашку воды из чайника и осторожно понес все в комнату. Там он включил, несмотря на запрет, черную эмалированную настольную лампу, при которой он делал уроки, – все-таки не такой сильный свет, как верхний, поставил чашку на табуретку, положил сверху хлеб и потихоньку, чтобы чашку не опрокинуть, придвинул табуретку к кровати. Потом, высоко поставив подушку, залез под одеяло, откусил хлеба, запил водой и, держа в левой руке ломоть, правой вытащил из кармана конверт и стал его рассматривать.

Марка на конверте была самая простая, с четырьмя профилями вождей, наложенными один на другой, так что отклеивать ее не имело смысла.

Мишка прочитал адрес – адрес был их, Москва-350, улица Маркса, написанный крупными буквами с сильным наклоном, как будто писал старательный первоклассник, а обратный адрес был похож на адрес Малкиных – Москва, 2-я Тверская-Ямская, и номер дома тот же, но квартира, насколько Мишка помнил, была другая и совершенно незнакомая фамилия – Сафидуллин А.М.

Перевернув конверт, Мишка стал рассматривать печати, по которым, как он знал, можно определить, когда письмо отправлено и когда пришло. На одной печати было видно «Москва, К-9», а все остальное смазалось, остались только неразборчивые синие пятна. А на другой печати стояло «Москва-350» и хорошо читались цифры «530203», и Мишка, немного подумав, понял, что письмо пришло им третьего февраля, то есть два дня назад, когда он уже болел. Этим можно было объяснить, что ни о каком письме из Москвы Мишка ничего не слышал – лежал себе в темноте, а мать с отцом на кухне, наверное, обсуждали, что в этом письме написано.

Читать адресованные другим письма – а на конверте было написано «Салтыковой М.И.», то есть матери, – неприлично, это Мишка хорошо знал. Но, во-первых, он не мог считать письмо полностью чужим, потому что оно было написано не кому-нибудь, а матери, и, во-вторых, главная причина, по которой Мишка полез в неровно надорванный сбоку конверт, была такая, что Мишка, конечно, прочитал бы и любое чужое письмо. Ведь писал какой-то сосед Малкиных, которого Мишка не знал, но который наверняка сообщал о дяде Пете, тете Аде и Марте и о том страшном, о чем Мишка уже почти забыл с осени и что сейчас сразу всплыло и навалилось так, что у Мишки даже заболела голова за ту секунду, в которую он достал и развернул толстенькое, на четырех согнутых пополам и подвернутых с одного края страницах письмо.

Письмо было написано совсем другим почерком – мелким, ровным и не очень разборчивым: например, буква «т» была везде написана, как цифра «1», а в букве «ш» приходилось считать крючочки, чтобы отличить от буквы «и». Желтый свет настольной лампы освещал бумагу слабо, и Мишка поворачивал письмо, чтобы читать в боковом освещении. Он сразу догадался, что письмо было от дяди Пети.

«Дорогие Маня и Лёня! Думаю, что вы получили предыдущее письмо, которое я отправлял вам еще из (далее слово густо замазано черным) тоже через Ахмеда (тут Мишка и сооб-

разил, чей обратный адрес был на конверте и кто такой Сафидуллин А.М. – дворник Ахмед из дома Малкиных, вот кто!). Надеюсь, что получили, и пишу снова через него, здесь многие пишут родственникам через знакомых или соседей, если письмо адресат не выкинет, оно доходит, а если писать прямо родственникам, то не всегда.

У меня все неплохо. Меня сразу поставили работать в клуб, колю дрова, топлю печь, рисую декорации для спектакля (пригодились уроки в академии), здесь силами з/к ставят «Русский характер», и получается, я вам скажу, прилично даже для московского театра, есть двое заслуженных (дальше строчка замазана), а ставит (замазано). Еды мне вполне хватает, хотя посылок от Адочки уже три недели нет, не знаю, что думать, боюсь, что болеет. Во всяком случае, вы не волнуйтесь и не расстраивайтесь, я не голодаю, встретил здесь одного знакомого еще по Потребсоюзу (замазано), мы друг друга выручаем, если требуется.

Теперь о жизни. Здесь был телеграф, что те, кто не по косм... (кусоч слова замазан, но Мишка сразу понял «космополитизм»), могут писать помиловки, и я, поскольку у меня статья хозяйственная, уже написал. А кум (слово было замазано, но неаккуратно, и Мишка его легко прочел, но совершенно не понял, о ком идет речь) сказал, что если спектакль на смотре управления займет первое место, то он сам будет ходатайствовать о досрочном поселении. Так что у меня теперь есть надежда на улучшение. Огорчают только две вещи. Во-первых, как я уже написал, нет вестей от Адочки и Мартышки, и у меня почему-то такое чувство, что они болеют, а Ахмед ничего не отвечает, только пишет «пизьмо пиризал, будте здоровый». Надеюсь, что ничего серьезного там не случилось, может, уехали к Адочкиной сестре в Брянск, чтобы поспокойнее было? Вы ведь помните, у нее есть кузина Вера в Брянске, в музыкальной школе работает, свой дом с садом, я был бы рад, если б мои пожили у нее. Конечно, все это очень не вовремя, Марта заканчивает школу, и как она дальше будет учиться, не представляю. Но что же делать, судьба. Во-вторых, немного расстраиваюсь из-за зубов. Уже два выпало, сначала я думал, что после (замазана строка), но потом мне объяснили, что это не хватает витаминов, и очень советуют чеснок. Если бы Ахмед получил от вас немного денег, если это, конечно, возможно, он бы прислал.

А что касается самого дела, то еще раз пишу: Маня и, главное, ты, Лёня, не расстраивайтесь и не сомневайтесь, все это ошибка (замазано), без которых, конечно, в жизни не бывает, тем более в такой огромной стране и в такое время. Ни к какому кос-му (Мишка опять догадался и понял, что дядя Петя знал, что некоторые слова замазывают, поэтому и придумал так написать) я, сами понимаете, отношения не имею, а что касается нарушений, то хотел бы я видеть ювелира, у которого их нет, и я их все сам признал, и теперь вот вам признаюсь: да, было, работал с золотом, а что делать, если женщина попросила колечко уменьшить? Получил свой пятак и не жалуясь. Но на помилование надеюсь, потому что ни в чем серьезном действительно не виноват (небрежно замазаны три строки). А от папы ничего не осталось, вы-то мне должны верить.

Как там Мишенька? Как вы? Как Манино здоровье и Лёнина служба? Понимаю, что спрашиваю зря, потому что куда вы ответите, но очень волнуюсь за вас, нет ли у Лени неприятностей и тому подобное.

Надеюсь увидиться еще на этом свете. Целую вас, родные мои, будьте здоровы. Петя.

Денег на чеснок нужно совсем немного, и можно отправить простым почтовым переводом на адрес Ахмеда, вы его знаете».

Мишка дочитал письмо и стал думать.

Прежде всего он порадовался, что дядя Петя, а следовательно, и мать, которую про себя он сейчас от радости называл, как называл, подлизываясь, вслух, мамулечкой, – никакие не космополиты. Он на это все время надеялся в глубине души, но из дядино письма это следовало несомненно.

Потом он задумался над тем, что все-таки значит «ювелир», и тут пришел к выводам неутешительным.

Получалось так, что ювелир – это лучше космополита, но ненамного. Насчет золота Мишка не понял вообще ничего, так же как и насчет того, что осталось или не осталось от дедушки (он сообразил, что тот, кого дядя Петя называл папой, был дедушкой, тем самым, с бантиком и бородкой), но было ясно, что ювелиры если и не враги, и не шпионы, то все равно люди подозрительные.

Было совершенно ясно, что дядю Петю «забрали», но жизнь, которую он описывал, с самодеятельным театром (Мишка вспомнил «Горе от ума» со Славкой Петренко и Галькой Половцовой) и разговорами о чесноке, не показалась очень плохой, странно было только, что дядя Петя колет дрова и топит печь, как деревенский.

А в целом письмо Мишку как-то успокоило, и он подумал, что не зря после того, первого письма, о котором вспоминал дядя Петя и которое мать, как она сказала тогда, в праздничную ночь, сожгла, все довольно быстро забылось. И дядя Коля Носов, которому кто-то «донес» про дядю Петю и мать, ничего не стал делать, потому что он все-таки ловит американских шпионов и настоящих врагов, а не ювелиров.

На душе у Мишки стало легко. Аккуратно сложив и засунув письмо в конверт, он отнес его на кухню и положил на прежнее место, а когда возвращался в комнату, решил вдруг позвонить Нине, хотя с той ночи ей ни разу не звонил, боясь налететь на Бурлакова. Но сейчас очень захотелось услышать ее голос и сказать, что у него все хорошо, дядя Петя скоро вернется на поселение – то есть, как понял Мишка, домой, – и нечего будет бояться и расстраиваться. Конечно, услышать Бурлакова не хотелось бы, придется молча повесить трубку, а Бурлаков, если догадается и позвонит дежурному, чтобы узнать номер, с которого звонили, все равно устроит скандал Нине... Но, с другой стороны, сейчас Бурлаков, скорее всего, еще на службе, а с тетей Лелей можно будет смело поздороваться, и она почти наверняка Нину позовет... Мишка снял трубку и назвал номер. После короткой паузы раздался низкий гудок, и почти тут же Мишка услышал Нинин голос.

– Нинка, ты чего делаешь? – спросил Мишка, не здороваясь, как было принято в школе не здороваться ни с кем, только мальчишки говорили «здоров», подавая друг другу руку.

– Географию, – ответила Нина лживым громким голосом, и Мишка понял, что там, рядом с ней, или сам Бурлаков, вернувшийся сегодня домой раньше обычного, или Нина не хочет, чтобы тетя Леля знала, что звонит Мишка, и потом скажет, что это Надька спрашивала насчет уроков. – Контурную карту зарисовываю, лесостепь... Я завтра уже в школу приду. Только по физике не знаю, до каких читать? Скажи страницу...

– Откуда ж я знаю, – удивился Мишка, – если ко мне никого не пускают, а Кирей сам болеет и не звонит? В первый день не спросят, не бойся...

Тут он запнулся, сообразив, что Нина говорит с ним, как с Надькой, а на самом деле никакая физика ее не интересует, она и сама знает, что после болезни все учителя дают несколько дней догнать и не вызывают.

– Нинка, а нам письмо пришло, – сказал Мишка тихо, будто на том конце провода старшие Бурлаковы могли его услышать. – Одно мать сожгла, помнишь, я тебе говорил, а это уже второе. Дядя Петя пишет, что все будет хорошо, его отпустят на поселение, поняла? Значит, он и мать не шпионы...

На этом слове Мишка замолчал. Он вдруг почувствовал длину телефонного провода и понял, что так, не видя Нинино лица, не может рассказывать ей подробно о письме и о своих мыслях по этому поводу, что все рассказать можно будет, только когда оба выздоровеют и пойдут вечером гулять, тесно прижавшись плечами друг к другу, так что со стороны в темноте будет незаметно, что они держатся за руки.

– В общем, все железно, – сказал Мишка, чтобы свернуть тему, – а мне еще две недели дома сидеть на карантине, ты мне звони, ага?

Нина молчала.

– Нинка, ты чего, не слушаешь, что ли? – спросил Мишка погромче. В трубке зашуршало, и вдруг Мишка понял, будто увидел, – Нина поворачивается носом в угол прихожей, где у них, как и у всех, висит телефон, и засовывает голову с трубкой под бурлаковский полушубок, чтобы никому, кроме Мишки, ничего не было слышно.

– Я тебя люблю, Миша, – громко прошептала Нина прямо в Мишкино ухо, и он услышал ее дыхание. – Я тебя люблю.

И в трубке раздался длинный гудок отбоя.

Глава десятая. Испытания

Отец пришел с завода и за ужином сказал, что послезавтра будут испытания. Офицерам велели предупредить семьи, потому что всем надо спуститься в первые этажи к соседям и сидеть там с двенадцати дня до половины второго, лучше всего в прихожих, где нет окон. Занятий в школе не будет, и магазин будет закрыт, а если Мишка вздумает выйти на улицу, то... Отец не сказал что, но и так было понятно.

Что такое испытания, Мишка уже знал, были полгода назад, и Мишка сохранил интереснейшие воспоминания. Поэтому наутро бежал в школу с радостью, собираясь сообщить новость, но новость, конечно, все уже знали, отцы, как и следовало, предупредили. А на втором уроке, на литературе, пришел Роман Михайлович и объявил, что завтра занятий в первой смене не будет, задания переносятся на следующую неделю, и от себя повторил, чтобы все сидели по домам, а кто будет замечен на улице, получит четверку по поведению сразу в четверти.

Киреев подошел на большой перемене и сказал, что у него есть секретный план и после уроков надо поговорить. Мишка, не отвечая – с Киреевым они ни при ком не разговаривали, запрет обоим был строжайший, – кивнул и стал ждать конца уроков.

Домой пошли разными дорогами и встретились за стройкой Дома офицеров, которая снова шла полным ходом, и стены с неровными оконными проемами поднялись уже почти на два этажа. Сели на почти сухие бревна, Киреев достал из шапки две папиросы «Север», а Мишка вытащил из портфеля лупу. Долго ловили солнце, наконец навели зайчика на конец одной из папирос, она почернела и задымилась, Киреев стал пыхтеть, как паровоз, раскурил, выпустил дым, откашлялся, а Мишка тем временем стал у него прикуривать – при этом Киреев, конечно, отдергивал папиросу, приговаривая сквозь кашель «сколько раз козу ёб?», Мишка сказал, что три, и с третьего прикосновения сумел прикурить. Посидели, выпуская синий с желтизной дым и плюясь.

– Ну, рассказывай план, Кирей, – сказал наконец Мишка, почувствовав, что голова уже закружилась.

Киреев немного покривлялся – «Я тебе скажу, а ты мамочке своей расскажешь» – и сказал. План был мировой.

Завтра, когда все спустятся в первые этажи и усядутся в прихожих на принесенных с собой стульях и табуретках – мать и сестра Киреева собирались спуститься в погреб своего финского дома, – надо будет убедить матерей не включать свет, сославшись на то, что директор школы Роман Михайлович дал такое дополнительное указание. Матери поверят, потому что испытаний боятся. Но Кирееву, вероятно, не удастся выбраться из подвала незамеченным даже в темноте – надо поднимать тяжелый люк, он скрипит и вообще, а Мишка сможет выскользнуть из прихожей в комнату, там посмотрит в окно, что происходит во время испытаний, а потом все подробно расскажет Кирееву и другим в классе, кому захочет. В самом же крайнем случае, даже если Мишку поймают, ничего страшного не будет, потому что он же не на улицу выйдет, а скажет, что захотел в уборную.

Мишке план не только понравился, но и показался удивительным: Киреев придумал такое, в чем не он, а Мишка должен играть главную роль. Однако потом, уже подходя к дому, Мишка понял, отчего приятель проявил такую скромность и бескорыстие – ведь даже если б не подвал, из которого выбраться незаметно действительно нет никакой возможности, то Киреева все равно никто в классе слушать не стал бы и все, что он мог увидеть, пропало бы без всякого толку.

Утром, как только отец, надев полевую форму, гимнастерку с портупеей, старую ушанку и полушубок, ушел, Мишка начал осуществлять план. Убедить мать, что сидеть придется без света, ничего не стоило, она легко поверила, что отец об этом просто забыл сказать, а в школе

предупреждали. Во время прошлых испытаний велели не только спуститься в первые этажи, но и взять с собой вещи первой необходимости – кружки-ложки, запас еды на сутки и запасное белье, так что теперь мать поверила бы во что угодно.

Спустились к нижним соседям Нечаевым уже в одиннадцать, расставили стулья в прихожей, расселись. Мать сидела рядом с тетей Тамарой Нечаевой, на руках у тети Тамары пристроилась маленькая Женька Нечаева, второклассница, а рядом поставили плетеную корзину с родившимся перед Новым годом братом Женьки Юрочкой. Мишка совершенно естественно оказался сидящим несколько в стороне, уже почти в коридоре. Сидел он на маленьком венском стуле, который принес из своей прихожей, так что, когда без пяти двенадцать погасили свет, Мишкина голова оказалась ниже идущего из кухни через коридор мутного дневного света, и ее контур, Мишка понял, не был никому виден, что тоже получилось удачно.

Посидели несколько минут в темноте. Женщины тихонько переговаривались о шитье, Женька негромко ныла, что ей страшно и скучно, спящий Юрочка сопел в корзинке. Вдруг с улицы послышался нарастающий шум моторов, какой бывает, когда идет колонна грузовиков. Все замолчали, и тут Мишка, вылезши из домашних тапочек, в которых пришел, на четвереньках шмыгнул в коридор и оттуда через предусмотрительно приоткрытую им заранее дверь в комнату, окно которой выходило в сторону завода. Здесь шум моторов слышен был лучше. Он встал на ноги, на цыпочках скользнул к окну и отодвинул белую занавеску-задержку.

За окном шли «студебеккеры». На большой скорости они катили от центральной проходной, направляясь туда, где кончался городок и за тремя рядами колючей проволоки стояли длинные бараки, которые назывались зоной. Брезентовые тенты были сняты, и люди, тесно стоявшие в кузовах, держались за металлические ребра, на которые тенты натягиваются.

«Студебеккеры» шли один за другим, рассмотреть людей в кузовах Мишка не успевал, видно было только, что все они в одинаковых телогрейках и солдатских шапках.

Мишка сразу сообразил, что это перед испытаниями с завода вывозят заключенных. Обычно их возили на завод еще на рассвете, а с завода уже поздно вечером, к тому же машины шли не через городок, а вокруг, поэтому увидеть эти грузовики в другие дни можно было только случайно. Но сейчас решили, видно, везти короткой дорогой, поскольку все равно весь городок сидел по прихожим и никто этой колонны, кроме Мишки, не видел.

Грузовики все шли. После каждого трех ехал открытый «додж три четверти» с солдатами. Солдаты сидели вдоль бортов, поставив между ног карабины «эскаэс». Люди в кузовах «студебеккеров» покачивались, но упасть не могли – стояли плотно. Моторы рычали.

Наконец колонна ушла, скрылась в конце улицы последняя машина, наступила тишина.

И почти сразу же со стороны завода небо озарилось огнем, над стеною поднялось зарево, и ударил такой рев, что Мишка, хоть и был готов ко всему, присел ниже подоконника и закрыл уши руками. Рев нарастал и дополнился свистом. В окне полыхало. Мишка заставил себя выпрямиться и снова выглянуть.

Небо над заводом горело, сине-багровым огнем пылали облака. Рев изменил тон, теперь это был визг, будто за стеной завода работала круглая электрическая пила, вроде той, которой распиливали вдоль бревна на стройке Дома офицеров, только в тысячу раз больше. Пламя прыгало по небу, то поднимаясь в невообразимую высь, то опадая и почти скрываясь за заводской стеной.

И вдруг все кончилось. Мишка постоял еще минуту, оглушенный и ничего не соображающий, и только потом, опомнившись, упал на четвереньки и вполз в прихожую, когда там уже включили свет. Мгновенно придумав, что это он ищет тапочки – в сущности, так и было, – Мишка встал на ноги, взял стул и собрался идти домой, но тут его внимание привлек конец фразы, которую как раз договаривала тетя Тамара.

– ...там ваши людей травят, а тут режимный городок, а вы хоть бы хны, – закончила говорить тетя Тамара.

На мать при этом она не смотрела, а возилась с Юрочкой в корзине, вытаскивая из-под него мокрые пеленки. А мать стояла, уже сделав шаг к двери, но не закончив его, выставив одну ногу, как гипсовая пионерка в сквере за клубом. Глаза ее были прищурены больше обычного, поэтому выражение лица казалось еще более презрительным, чем всегда, но Мишка знал, что с таким лицом мать начинает плакать, и испугался, что она заплачет прямо сейчас, у Нечаевых, поэтому дернул ее за руку и, держа в другой руке стул, почти потащил домой, молотя языком всякую чепуху насчет обеда, лишь бы отвлечь мать и увести. И мать послушно пошла к двери, но, выходя, все же обернулась к тете Тамаре, слезы все-таки вылились из ее глаз, и она успела ответить.

– Я думала, что вы умнее, Тамара, – сказала мать, и от этих ее слов Мишка совсем испугался, потому что мать никогда так не говорила никому из посторонних, могла только Мишке сказать или отцу, если тот приходил с завода слишком веселый и сильно пахнущий спиртом.

И Мишка еще сильнее потащил мать домой, они вышли от Нечаевых, не закрыв за собой дверь, поднялись к себе, мать сразу же ушла в ванную и там заперлась – очевидно, плакать, а Мишка стал у окна, но за окном все выглядело самым обычным образом и над заводской стеной небо было обыкновенное – серое.

Все, что произошло, требовалось обдумать. И Мишка стоял у окна, дожидаясь, пока мать успокоится и выйдет из ванной, чтобы отпроситься у нее гулять – уроков-то нет, весь день свободен, – и, сев на бревно возле стройки Дома офицеров, подумать как следует, пока Киреев не придет.

Но мать все не выходила, и Мишка спросил через дверь, нельзя ли теперь пойти гулять часов до пяти, а в полшестого, самое большее, он будет дома. Тут же дверь открылась, и мать вышла с вымытым мокрым лицом и влажными спереди волосами. Не глядя на Мишку, она прошла в комнату, легла на диван, попросила дать ей таблетку пирамидона из аптечки, воды запить и пятый том Диккенса, после чего Мишке можно идти гулять, но по лужам на стройке, конечно, не лазить, шарф не развязывать и пальто не расстегивать.

Мишка сидел на бревнах и старался думать по очереди.

Сначала он, естественно, думал про испытания. Он – да и никто в школе – толком не знал, что именно делают на заводе. Киреев предполагал, что атомные бомбы, но Киреев был настоящий дурак, потому что если бы на заводе испытывали атомную бомбу, то, Мишка читал в «Комсомольской правде», от городка бы ничего не осталось, а у людей сразу вылезли бы волосы и все ослепли бы. Кроме того, Мишка вообще не верил, что в СССР делают настоящую атомную бомбу, потому что одно – американский империализм, которому никого не жалко, ни японское мирное население, ни корейцев, а совсем другое – СССР, который, конечно же, никогда не будет бомбить американских трудящихся, особенно негров, например Поля Робсона, или писателей, как Говард Фаст. Как бы то ни было, никакая это была не бомба, понятно.

Но что это было, представить себе Мишка не мог. Он допускал, что на заводе могли делать реактивные самолеты, но почему-то ему казалось, что от реактивного самолета такого огня быть не может, потому что самолет и сам может сгореть.

Однажды, Мишка уже не помнил когда, мелькнуло слово «ракета», но оно Мишке не показалось интересным, потому что ракеты он видел, это были небольшие картонные трубки, которые заряжались в ракетницу, специальный пистолет с толстым стволом, и вспыхивали в высоте белой холодной звездой. Прошлой зимой, в самые морозы, отца подняли ночным телефонным звонком, он тепло оделся и ушел, а когда вернулся утром, у него в кармане полушубка лежал такой пистолет, а в другом – две ракеты, и из разговора Мишка понял, что из части убежал солдат, его всю ночь ловили в степи, а ракеты были нужны, чтобы подавать тем, кто ловил, сигналы. И трудно было представить ракету – даже если ею стрелять не из пистолета, а из пушки, – которая горела бы таким гигантским пламенем, какое видел утром Мишка над заводским забором. Да и зачем такая ракета нужна?

Ничего Мишка придумать не мог. А от утреннего впечатления осталась только одна невнятная мысль: он вспомнил детские сказки о псе, который дышит огнем, и в сочетании с воспоминаниями об овчарках, бегавших за заводской стеной, гроыхая поводками по проволоке, представление об огнедышащем звере укрепилося, и Мишка постепенно перестал думать об испытаниях. Зверь стал как бы понятным, и жизнь его за стеной на мгновение показалась Мишке даже вполне целесообразной: зверь охранял городок, следил из-за стены за людьми и стерег их, чтобы никому в голову не пришло, как тому солдату, сбежать, а время от времени – как сегодня утром – демонстрировал свою силу. Этот огненный выдох и назывался испытаниями, которые следовало выдержать живущим в городке.

Мишка от всех этих детских глупостей даже плюнул на землю между своими широко расставленными галошами, надетыми на валенки, и стал думать о другом.

О чем говорила тетя Тамара, он легко понял. Снова выполз из памяти уже полузабытый «космополитизм», снова заныло в животе от мысли про дядю Петю. Из обрывка фразы, которую сказала тетя Тамара, как-то – Мишка не мог понять, как именно, но не сомневался – следовало, что дядя Петя и мать все-таки космополиты, а то, что дядя Петя еще и ювелир, не имеет большого значения, и что дядя Гриша Кац тоже космополит, и дядя Лева Нехамкин с тетей Тоней, и, может быть, даже отец, и ничего не кончилось, и не будет никакого поселения дяди Пети дома, и летом они не поедут в Москву к Малкиным, и вообще все плохо, опять плохо, мать плачет, ничего не кончилось.

Мишку стало даже знобить, он испугался, что простудится и опять заболеет – полкласса, выйдя после кори, уже заболели простудой, а у Инки Оганян уже даже было воспаление легких, и она лежала в гражданском отделении госпиталя вместе со взрослыми женщинами. Болеть совершенно не хотелось, потому что как раз договорились с Ниной идти в кино в субботу на «Тарзана» в третий раз, и Мишка встал, замотал шарф, застегнул пальто и стал ходить в ожидании Киреева вокруг бревен, топая галошами и пробивая тонкий лед на мелких лужах до дна, так что выступала светлая прозрачная вода и поднималась примерно до половины галош.

Что может произойти с матерью, отцом и самим Мишкой из-за космополитизма, он представлял плохо.

Никаких конкретных предположений у него не было. Что заберут в тюрьму мать или отца, он представить никак не мог, хотя дядю Петю в тюрьме представлял, причем, вспоминая прочитанное письмо, представлял в довольно комичном виде: вот он, в своем длинном сером габардиновом макинтоше, рубит дрова, неловко замахиваясь топором, топор застревает в полене, и дядя Петя пытается его вытащить, а вот он растапливает щепками и газетами железную печь, печь дымит, а дядя Петя вытирает глаза уголком галстука, которым он обычно протирал очки... Но представить в таких же обстоятельствах отца или тем более мать Мишкиного воображения решительно не хватало.

Точно так же он не мог представить себя в малолетней колонии, о которой у него вообще никакого ясного понятия не было – так, какой-то кошмар вроде большой больничной палаты, в которой он однажды лежал с подозрением на аппендицит.

И заключенные, которых он видел утром, никак в его сознании не связывались ни с отцом, ни с матерью, ни с дядей Петей. Он, оказываясь иногда на краю городка, проходил вдоль тройной колючей проволоки, иногда смотрел на бараки за ней, но никакого интереса все это у него не вызывало. Вокруг бараков было чисто выметено и пусто, солдаты на вышках дремали стоя, надвинув на глаза ушанки, иногда за проволокой торопливо проходил человек в ватнике – он нес охапку дров, или большой бидон для супа, или еще какую-нибудь хозяйственную вещь. Появившись из одного барака, он быстро скрывался в другом, и следа от него не оставалось ни в пространстве, ни в Мишкиной памяти. Заключенные были такой же принадлежностью скорее завода, чем городка, как длинная кирпичная стена с овчарками за ней, длинные кирпичные здания цехов за стеной, две не очень высокие, но толстые кирпичные трубы там же и рев зверя

раз в несколько месяцев – как сегодня. Заключение не были людьми в обычном смысле этого слова – например, как пропадавший по командировкам дядя Федя Пустовойтов, или мать, или историчка и классный руководитель Нина Семеновна, – скорее они были как солдаты: чтобы разглядеть в любом человека, надо было познакомиться, как с часовым, допустим, на капэпэ или с тем узбеком-сержантом на стройке, а все вместе они были просто солдаты или просто заключенные, и всё.

И конечно, Мишка никак не мог представить себе дядю Петю в таком ватнике, тем более – отца, и уж никак – не мать.

Тем не менее, вспомнив про увиденные утром «студебеккеры», Мишка как-то непривычно и дополнительно расстроился, а отвлекшись от этого воспоминания, стал снова думать про дядю и мать с отцом и еще больше расстроился.

Тут как раз пришел Киреев.

Уши шапки с кожаным верхом и вытертым черным мехом Киреев раз и навсегда отогнул назад, а поскольку сейчас было уже тепло, февральское солнце пробило снег местами до черной земли, то шапку Киреев не натянул, а просто как бы положил на голову, сдвинув на лоб, отчего голова его казалась большой, вытянутой вверх. Короткий, заплатанный на правом плече черным косым куском желтый полушубок Киреев, конечно, не застегнул, из-под полушубка видна была старая зеленая гарусная кофта матери Киреева, которую он надевал не в школу. На ногах Киреева были его знаменитые сапоги, поверх которых он ввиду февральской сырости надел старые, с разорванными почти до подошвы задниками галоши. В рваную прореху вылезала красная байковая подкладка галош. Голая шея Киреева торчала из кофты, рыжий чуб из-под шапки свисал на один глаз, под носом, конечно, отливала зеленым сопля, а в голых красных руках Киреев тащил, напрягаясь из последних сил, старое, ржавое и без шины, колесо от полуторки.

– Ты зачем колесо притаранил, Кирей? – спросил Мишка, но ответа не получил.

Пыхтя и надсаживаясь, Киреев затащил колесо на высокую, метра в полтора, гору смерзшегося в монолит песка, привезенного еще летом для нужд стройки. Там он установил колесо на ребро и со страшным криком «атас!» толкнул колесо вниз. Железяка, кренясь набок и описывая большую дугу, покатилась, едва не задела Мишку – он еле успел отскочить – и, проехав метров восемь, упала плашмя, с глухим звоном расколов оказавшийся кстати кирпич.

– Амбец, – сказал Киреев удовлетворенно и, слезши с горки, пнул колесо. – Испытания закончены.

– Какие испытания? – уже раздраженно спросил Мишка. – Чего ты испытывал, дурила-мученик?

Ему хотелось поговорить с приятелем серьезно, а тот игрался, как маленький.

– Представляешь, Мишка, – сказал Киреев, не обидевшись и даже не обратив внимания на «дурилу-мученика», – затаскиваешь такое колесо на гору, а под горой вражеский штаб. Раз – и амбец штабу, понял? Это будет наш танк «Клим Ворошилов». Надо колесо в штаб оттаранить, спрятать. Потащили?

Мишка прижал большой палец к виску и молча повертел раскрытой ладонью, что означало не просто «дурак», но еще и «лопух». Ничего тащить он не собирался. Детская игра в «штабы» – с нападением обитателей одного штаба на другой и разрушением вражеской постройки, беготня с деревянными, выпиленными из доски автоматами «пэпэша», к которым в качестве дискового магазина прибавалась плоская круглая крышка большой, двухкилограммовой консервной банки от канадской тушенки, размахивание из доски же выпиленными по образцам «Великого воина Албании Скандербега» мечами, с треском врезавшимися в фанерные щиты, удерживаемые за прибитые к ним петли из бинта, – давно все это надоело Мишке. А Киреев их штаб обожал, как только становилось тепло, тащил туда Мишку и в войну играл с удовольствием, хотя никто с ним уже не бегал, кроме малышни-четвероклассников. Впрочем,

Мишка помнил, что Киреев использовал штаб не только для игры в войну, но и для другого развлечения, но вспоминать это не любил – и не вспоминал, поскольку Мишка умел не вспоминать то, что было неприятно.

Сейчас, чтобы совсем охладить Киреева, Мишке пришлось привести дополнительный аргумент.

– И где ты, Кирей, возьмешь горку возле вражеского штаба? – спросил он иронически. – Насыплешь, что ли?

Киреев на секунду задумался, и Мишка тут же перевел разговор.

– Испытания видел? – спросил он, и по тому, как Киреев стал кашлять и вытирать заду-белым от частого такого использования рукавом полушубка соплю, понял, что Кирееву пришлось все время просидеть в подвале с матерью и сестрой и ничего он не видел. Не дожидаясь прямого ответа, чтобы окончательно не унижать товарища, Мишка стал рассказывать о том, что удалось увидеть ему.

Киреев про рев и огонь слушал без всякого интереса, а дослушав, пожал плечами.

– Подумаешь, – сказал он, и Мишка сразу понял, что приятель не пижонит, а действительно что-то знает, неизвестное Мишке. – Отец все давно рассказал, потому что он ночью матери все рассказывает, а я не сплю и слушаю, это испытывают двигатель для такой ракеты, которая долетит до Америки, и от всех ихних небоскребов на Волл-стрите ничего не останется, она сильнее, чем атомная бомба. А твой отец не рассказывал, что ли?

Киреев сморозил очевидную глупость и насчет ракеты, и насчет небоскребов. Но убедительно возразить ему Мишка не мог, потому что действительно почти никогда не слышал, чтобы отец что-нибудь рассказывал о работе, кроме того, кто обмывал звездочку или кого переводят в Москву, Ленинград или Харьков, а если что-то еще и рассказывал матери ночью, то Мишка в это время всегда уже спал, а пока он не спал, мать с отцом лежали тихо и, казалось, сами спали. Мишка задумался о ракете и вдруг вспомнил картинку в книге: бородатый старик в круглой шляпе и маленьких очках, а рядом сигара, похожая на дирижабль, только длиннее, от нее назад отходит сноп огня с облаком дыма, и в этом огне – стрелочки, которые показывают, куда идет сила от огня. Картинка не противоречила киреевскому рассказу... Впрочем, что это была за книга и что было написано под картинкой, Мишка не помнил.

Чтобы не высказываться по сомнительному поводу, Мишка перевел разговор на заключенных, которых провезли по улице перед испытаниями, но и тут Киреев оказался хорошо осведомленным.

– Они и делают двигатели, – сказал он, – их набрали из всяких инженеров-вредителей и профессоров еще дореволюционных, а еще там пленные немцы есть, тоже инженеры, а твой отец и другие офицеры ими только командуют и следят, чтобы не вредили. Потому что если среди них будет диверсант, то взорвет весь завод и городок тоже... И дядя Коля Носов...

Тут Киреев вдруг замолчал, как будто его заткнули, отвернулся и стал возиться со ржавым колесом, пытаясь его снова втащить на горку.

– Чего дядя Коля Носов? – пихнул Мишка Киреева в бок, а ногой наступил на колесо, чтобы прекратить дурацкое занятие. – Чего, ну?

Киреев бросил колесо и сел на бревна. Мишка сел рядом.

– Курить будешь? – спросил Киреев, взрослым жестом откидывая полу полушубка и доставая из кармана штанов на этот раз мятый «Дукат». – Спички есть?

Спичек у Мишки, конечно, не было, и они стали прикуривать обычным способом – наводя как раз вылезшее солнце через складную лупу, которую Мишка всегда таскал с собой, на край сигареты, пока он не начал тлеть, а потом лихорадочно затягиваясь, чтобы раскурить.

Закружилась, как обычно, голова, рот наполнился слюнями, и мальчишки принялись сплевывать между широко расставленных ног, каждый стараясь попасть в свой предыдущий плевок. Рассказывать про разговор матери с тетей Тамарой Мишка, конечно, не стал, но Киреев

как будто бы слышал этот разговор – сплюнув в очередной раз, он затер все плевки ногой и сам заговорил на проклятую тему.

– Чего твоя мать говорит насчет косьма... – он запнулся, выговорил с трудом: —...летизма? Мой отец сказал, что у них про это скоро собрание будет, там все будут выступать, и Кац – доктор, и дядя Лева Нехамкин, все косьмолиты, а потом генерал сам решит, кому что...

Про собрание Мишка ничего не знал. Обычно про собрание отец говорил накануне, что поздно придет, и приходил действительно очень поздно, когда Мишка уже давно лежал в кровати и должен был спать, но Мишка обычно не спал и слышал, как мать шепотом говорит отцу, что от него опять пахнет спиртом, а отец шепотом оправдывается, объясняя, что после собрания зашли к Сене и немного поговорили. Но в последние дни отец – во всяком случае, при Мишке – ничего про собрание не говорил, а сегодня утром, перед тем как уйти на испытания, сказал только, что в эту субботу заступает дежурить в штабе, значит, придет только в воскресенье вечером, будет допоздна чистить свой никелированный «тэтэ» с желтой дощечкой на рукоятке, на которой косыми буквами написано: «Капитану Салтыкову Л.М. по результатам стрельб», а утром в понедельник будет спать допоздна, на службу не пойдет и весь день будет слоняться по дому в пижамных штанах, то прося у матери обед в необычное время, то принимаясь сколачивать какую-нибудь очередную полку из раскуроченной упаковки.

– А чего решит генерал, твой отец знает? – осторожно спросил Мишка, не глядя на Киреева и продолжая галошей растирать землю.

– Отец не знает, – так же не глядя на Мишку и старательно давя галошей докуренную сигарету, ответил Киреев и надолго замолчал, снимая с губ и языка табачные крошки. – Он так сказал: «Могут из партии попереть, но генерал может прикрыть, тогда обойдутся выговорами». А твой отец чего говорит?

Мишка промолчал. Слова «из партии попереть» прозвучали страшно, хотя толком Мишка не мог понять, что они значат. Когда-то вроде он слышал что-то подобное, и осталось ощущение ужаса, катастрофы, но не конкретное, а какое-то всепоглощающее, так что даже нельзя было представить, что именно тут страшно, но не было никаких сомнений, что страшно и непоправимо. Настроение испортилось окончательно, тем более что он, естественно, вспомнил, о чем говорила тетя Тамара Нечаева с матерью, и потому никак не мог надеяться, что «обойдутся выговорами» – хотя и этих слов точного смысла не знал, догадывался только, что это не так страшно, как «попереть из партии». Мишка собрался домой – после испытаний отец мог вернуться раньше, кажется, в прошлый раз так и было, и Мишка боялся пропустить какой-нибудь важный его разговор с матерью, из которого можно было бы что-нибудь узнать.

– Я домой, Кирей, – сказал Мишка, – скоро отец придет, будем обедать... Будь здоров.

– Будь здоров и не кашляй, – ответил по обыкновению Киреев, оставаясь сидеть на бревнах. – Лупу оставь прикуривать, будь друг, я отдам, гад буду.

Мишка знал, что отдаст, но на всякий случай надо было бы взять клятву под салютом всех вождей или пальцем по зубам и по горлу, однако Мишке стало лень выдерживать этот ритуал, и он молча протянул выпуклое стекло, выдвинутое вбок из черной эбонитовой коробочки, приятелю.

Уходя, Мишка оглянулся. Киреев смотрел ему вслед, и на мгновение Мишке показалось, что Киреев сейчас заплачет, – такое у него было лицо.

Глава одиннадцатая. Воскресенье

Утром в воскресенье Мишка томился. Скучно было ужасно, он даже попробовал читать дальше заданного учебник физики, дошел до ракет, убедился, что Киреев, пожалуй, мог говорить правду, но и это его не развлекло, и учебник он отложил. Взял Жюль Верна, «Таинственный остров», стал перечитывать список вещей, подобранных капитаном Немо колонистам, который он постоянно перечитывал и уже почти знал наизусть, но и это сразу наскучило.

Мать сидела на кухне, на плите варился суп, а мать читала книгу. Мишка присел, снизу глянул на обложку и с трудом прочел название. Книжка называлась «Сага о Форсайтах», оба слова были непонятные. Он спросил у матери, что значит «сага», и не совсем понял ответ, получалось не то сказка, не то просто длинная история, но было непонятно, почему так называется толстенная книга. А Форсайты оказались просто английской фамилией – в общем, скука.

В комнате Мишка было разложил схему из «Техники – молодежи» и решил продолжить сборку супергетеродина, который они с отцом уже давно вместе паяли в фанерном ящике от посылки, но мать, как почувствовала, пришла и выдернула из розетки паяльник, который без отца Мишке категорически запрещалось включать. Впрочем, Мишка успел уронить капелюшку расплавленного олова на скатерть, но мать не заметила.

Тогда Мишка вытащил старый альбом, где листы были изрисованы растушеванными шарами и кубами на уроках рисования еще в прошлом году, взял желтый блестящий простой карандаш «Кохинор» 2М и начал рисовать в свое удовольствие на обратных сторонах. Он нарисовал танк Т-34, едущий немного боком, в три четверти, на зрителя и при этом стреляющий из пушки. Гусеницы танка сильно сужались назад в резко выраженной перспективе, а выстрел был нарисован несколькими расходящимися линиями, завершающимися волнистым пузырем, так что картина получилась грозная. На следующей странице Мишка нарисовал самолет Ла-5, тоже летящий на зрителя и тоже в три четверти. Перспектива была такая же отчаянная, поэтому крылья самолета были широкие, а хвост за ними казался коротковатым. Пушки с крыльев стреляли очередями – тоже пучками расходящихся линий, но пунктирных. Нарисовав самолет, Мишка принялся рисовать рассекающий волны эсминец, по памяти воспроизводя картинку из любимой книги «Боевые корабли» – эсминец идет на зрителя в три четверти, нос рассекает и на две стороны разваливает высокими дугами воду, стволы главного калибра смотрят черными дырками и резко сужаются назад в подчеркнутой перспективе... Но корабль Мишка не дорисовал – опять стало скучно и рука устала штриховать изогнутые возле носа борта.

Мишка сложил и спрятал альбом, убрал карандаш в узкую белую коробочку из гладкого картона, где лежали такие же, но еще не заточенные карандаши, коробочку спрятал в свою тумбочку и остался стоять возле нее, глядя в окно.

За окном была пустая зима. По выбитой в снегу узкой дорожке – за февраль нападало очень много снега – шел девятиклассник Колька Потапенко из соседнего дома и тащил за собой санки со спинкой, в которых сидела его маленькая сестра, завернутая в клетчатый черно-зеленый платок. Санки то и дело съезжали с дорожки и опрокидывались, Колька останавливался, поднимал из снега и отряхивал неподвижный платочный куль, снова сажал на санки и волок дальше – его послали гулять с сестрой. Больше на улице не было никого, и Мишке стало уже совсем невыносимо скучно.

Он снова пошел на кухню. Мать читала, положив книгу на кухонный стол. Очки она сняла и положила на стол рядом, поэтому сильно щурилась и низко наклонялась. Мишка посмотрел немного на мать, стоя в дверях, но она не обратила на него внимания и продолжала читать. Мишка пошел в ванную и стал рассматривать в зеркале прыщ, вчера появившийся на лбу. Давить его, наученный горьким опытом – от этого прыщи становились еще ужаснее, Мишка не стал и даже порадовался, рассмотрев как следует: прыщ вроде бы подсох и начал проходить.

В квартире стояла полная тишина. Отец с дежурства должен был прийти только поздно вечером, и до того, как он явится, неся под мышкой туго обернутую ремнем и портупеей кобуру, снимет шинель, стянет, упираясь в рогульку, сапоги, разматывает портянки, нащупает шерстяными крестьянскими носками тапочки и пойдет мыть руки, а мать начнет накрывать стол на кухне к ужину, еще оставался почти весь день.

– Ма, я гулять! – крикнул Мишка из прихожей.

Мать ответила нечленораздельно в том смысле, чтобы оделся тепло, – зачиталась.

Мороз был действительно сильный, Мишка на улице стал быстро исправлять упущения в одежде, поскольку мать не послушал: шарфом высоко закрыл подбородок, так что на шерсти от дыхания сразу появился белый пушистый налет изморози, воротник поднял – возиться, развязывая шнурки, чтобы опустить уши шапки, не хотелось, а поскольку варежки не взял, пришлось руки засовывать глубоко в карманы.

Он побрел по узкой вытоптанной дорожке, вышел из двора, повернул к клубу. Мысли в голове как будто бы замерзли, они вяло ворочались, наталкиваясь одна на другую, топчась на месте.

Мишка думал про неприятности, но ничего придумать не мог. Он, конечно, ни капли не верил, что отца или мать заберут, просто не мог в это поверить, но тем не менее картинка возникала: отец в распахнутом полушубке рубит дрова, вокруг – густой лес, поваленные, спиленные деревья на опушке, а чуть в стороне стоит часовой, солдат с карабином, вроде бы один из тех, кто ездит в «додже» с дядей Лево́й Нехамкиным. Картина эта, к Мишкиному удивлению, не вызывала у него ужаса, как будто отец просто был на работе или на войне, где ему, как Мишка знал из отрывочных рассказов, приходилось и лес рубить, и таскать тяжелые бревна, а однажды он в одиночку даже тащил тяжеленную рельсу и дотащил, куда надо было, а потом хотел снова поднять – и не смог... В Мишкиной голове картинка, на которой отец рубит дрова (как дядя Петя, рассказавший о нынешней своей жизни в письме), сопровождалась странными словами «обойдется... обойдется...» и еще услышанным когда-то, он не мог вспомнить когда, «везде люди живут»...

А мать Мишка никак не мог себе представить ни в каких других обстоятельствах, кроме тех, в которых ее оставил: кухня, кастрюля на плите, книга на кухонном столе и очки рядом... Такой Мишка ее видел всю свою жизнь. И себя он никак не представлял в малолетней колонии, которую вообще-то учителя в школе вспоминали по разным поводам часто – например, грозили ею Вовке Сарайкину. Но себя Мишка никак не мог увидеть где-то, в большом общем помещении, день и ночь среди других мальчишек, без матери и отца. Голова отказывалась рисовать такую картинку, потому что ее не с чего было рисовать.

Мишку никогда не водили в детский сад, не посылали в пионерлагерь – так получалось. В том возрасте, когда водят в детсад, Мишка с матерью и учившимся в академии отцом жил в Москве, у Малкиных, и ни в какой детский сад его, как приезжего, не взяли бы. А в пионерлагерь его не отправляли, потому что отца каждый год посылали на курорт, на Рижское взморье или в Сочи, в санаторий имени Орджоникидзе, а он брал с собой мать, потому что без нее скучал, а мать брала Мишку, потому что считала, что ему полезнее для здоровья побыть у моря, чем питаться черт его знает чем и в конце концов утонуть во время речного купания в лагере...

Мелькнула фамилия Малкиных, и Мишка совсем расстроился. Ничего, никакого утешительного будущего не придумав для себя и родителей, он стал думать про дядю Петю, тетю Аду и Марту, и от этого стало еще хуже. Во-первых, положение дяди Пети уже не представлялось комическим и «поселение» стало казаться безосновательной надеждой. Во-вторых, Мишка впервые задумался, на какие деньги живут без дяди Пети тетя Ада и Марта. Получалось, что жить им не на что, разве что дядя Петя присылает из леса, где рубит дрова и, наверное, зарабатывает этим деньги.

Вообще-то Мишка про деньги думал часто, но не применительно к жалованью отца или к зарплате дяди Пети, а в основном в связи со своими планами на взрослую жизнь. Это началось наутро после того, как их с Ниной допоздна искали родители. Отец тогда как бы мельком, не обсуждая происшедшего накануне, спросил: «А какие у тебя планы относительно Нины?» И Мишка, неожиданно для самого себя твердо, как будто все уже давно решил, ответил: «Я на ней женюсь после школы». Мать, возившаяся с завтраком, не оборачиваясь от плиты, охнула, потом засмеялась. Отец же, даже не улыбнувшись, кивнул и задал второй вопрос: «А на какие деньги семью кормить будешь?» В тот момент Мишке не пришло в голову начать рассказывать про свои планы стать заведующим, как дядя Петя, он вообще забыл про эти планы, а ответил просто и коротко: «Буду работать». «Кем?» – все так же серьезно поинтересовался отец. Мишка растерялся, но опять не сказал про заведующего, хотя уже вспомнил про эту идею, но с него хватило урока, который он получил на классном часе, и он вовсе не был уверен, что отец тоже не высмеет его планы. Мишка ответил все так же коротко и солидно: «Подумаю», – и на этом отец разговор закончил. Но с тех пор Мишка часто думал про работу и деньги, которые за нее будет получать.

Он не сомневался, что получать будет много, хотя совсем не представлял за что. Только видел картинку: себя в серо-голубом костюме, как у дяди Пети, Нину в крепдешиновом платье с широкой юбкой, они идут по перрону Курского вокзала в Москве, в руке у Мишки черный лакированный чемодан с желтыми кожаными кантами по ребрам, они подходят к поезду Москва – Адлер, к мягкому или даже к международному вагону, и Мишке, нынешнему, тринадцатилетнему Мишке, видящему эту картину, понятно, что у человека в сером костюме полно денег, целый толстый бумажник из желтой тисненой кожи с металлической пластинкой на уголке, набитый синими пятерками и красными десятками.

При Мишке мать с отцом говорили о деньгах нечасто, в основном к концу отпуска. Деньги кончаются, говорила мать, отец доставал из кармана большую серую бумагу в разводах под названием «аккредитив» и давал ей, но это ведь последние, говорила она, а отец молча обнимал ее за плечи, и она успокаивалась, только еще успевала пробормотать, что и эти ведь отдавать придется в кассу взаимопомощи, из которой обязательно брали перед отъездом на курорт. Мишке этот разговор всегда бывал неприятен, и с тех пор, как он начал задумываться о деньгах, он твердо решил, что у него деньги никогда не будут «последние» и в кассе взаимопомощи он никогда брать не будет. Как этого можно достичь, он не знал, но решил твердо.

И сейчас, задумавшись, на какие деньги живут Малкины без дяди Пети, он быстро сбился с этой мысли и стал думать про себя с Ниной.

С тех пор как она сказала по телефону «я тебя люблю», их отношения почти не изменились – они по-прежнему ходили в кино по субботам, смотрели две серии «Падения Берлина», потом еще раз «Тарзана», потом показали на одном сеансе, на который они как раз попали, «Тарзана в Нью-Йорке», а второй сеанс отменили, пришел какой-то незнакомый капитан из политотдела и прямо в зале сказал, что сеанса не будет, и все выстроились перед кассой получать обратно по двадцать копеек, а Мишка с Ниной пошли гулять и долго обсуждали картину – Мишке понравилось больше, чем сам «Тарзан», по крайней мере в Нью-Йорке все было меньше похоже на сказку, а Тарзан и Джейн были очень здорово одеты и вокруг было много красивых – тут Мишка не мог не отдать должное американцам – американских машин. И Мишка даже вспомнил другой фильм, который он когда-то давно, когда маленьким жил с отцом и матерью у Малкиных в Москве, ходил с Мартой смотреть в кинотеатр «Метрополь», в один из маленьких залов над букинистическим магазином. Фильм назывался, кажется, «Серенада Солнечной долины», содержания Мишка уже совсем не помнил, помнил только, что там все мужчины были в таких же прекрасных костюмах, как Тарзан в Нью-Йорке, до которых далеко даже клетчатому пиджаку Роберта Колотилина. И еще помнил удивительную музыку, которую в картине играли все время, потому что картина была про оркестр, как «Веселые

ребята». Музыка была прекрасная, от нее все внутри начинало лететь, как будто очень быстро едешь в машине по хорошему шоссе (однажды так ехали из Адлера в Сочи на «опель-адмирале», шофер которого, грузин с маленькими квадратными, как у Гитлера, усами под большим носом, брал попутных пассажиров, сразу семь человек с чемоданами, только стоило это дорого, по пятнадцать рублей с каждого, в том числе и за Мишку, хотя он всю дорогу сидел у матери на коленях), и все мелькает по сторонам, а ты летишь все быстрее... Когда они жили в Москве, такую музыку передавали даже по радио, а потом перестали, а здесь, в Заячьей Пади, тот фильм ни разу не показывали. Оказалось, что Нина тоже видела тот фильм, когда жила в Потти, они стали вспоминать вместе, только Нина больше, чем музыку, запомнила из этого фильма историю про любовь. Она сказала, что в трофейных фильмах – такие фильмы, как «Тарзан» или эта «Серенада», назывались трофейными, хотя Мишка не понимал почему, ведь воевали в прошлый раз не с американцами, а с немцами, как же американские картины могли быть трофейными? – всегда про любовь показывают лучше, чем даже в нашей картине «Жди меня».

Так они гуляли каждую субботу вечером, а иногда и в обычные дни – быстро сделав уроки, Мишка звонил Нине, коротко договаривались, он встречал ее где-нибудь возле школы, до которой идти было примерно одинаково и от ее, и от его дома, или за клубом. Каток за клубом в эту зиму закрыли из-за эпидемии кори и простуд, поэтому просто часа полтора ходили по темным улицам, пока оба не замерзли окончательно, тогда прятались в какой-нибудь подъезд и целовались недолго. Несколько раз днем в воскресенье уходили за проходную, гуляли в продуваемой ветром степи, иногда целовались и там.

А к Вальке больше не ходили ни разу, хотя деньги у Мишки были.

Вот это и изменилось после ее слов «я тебя люблю» – теперь Мишка даже представить себе не мог повторения того, что происходило ночью у Вальки. Он много думал о значении слов «я тебя люблю» – в основном пытаюсь понять, есть ли любовь в нем самом, – и ни к какому окончательному выводу не приходил. Единственное, до чего он додумался, – любить Нину имело смысл, поскольку было очевидно, что красивее ее все равно никого нет. Он, естественно, не сравнивал ее с другими девчонками из класса, сравнивать с ними вообще было смешно, – нет, он сравнивал ее с артистками, и получалось, что она красивее и всех артисток, включая ту, которая играла Джейн, и ту, которая играла в «Цирке», ее даже звали Любовь, она действительно была очень красивая, но Нина все-таки красивее. А раз Нина самая красивая, то Мишка, конечно, не мог ее не любить, тем более что она сама его любит. И можно было считать, что Мишке повезло, потому что он женится на Нине, а жены не у всех бывают красивыми, а у Мишки будет.

И как-то так получалось, что именно поэтому опять пойти к Вальке было невозможно.

Думая обо всем сразу, Мишка бродил по протоптанным на улицах дорожкам, замерз отчаянно и решительно свернул к клубу. Там, как обычно днем, было пусто, в полутемном вестибюле сидел дежурный старшина, у которого Мишка попросил разрешения позвонить домой. Мать сняла трубку, голос ее показался Мишке каким-то незнакомым, очень спокойным. Он сказал, что пойдет сидеть в читалку, мать не возражала, велела только прийти к возвращению отца с дежурства ужинать вместе. Она знала, что Мишка может просидеть в читалке весь день, и дала ему достаточно времени – до возвращения отца оставалось еще часа три.

В читалке он сразу попросил американские журналы, и старая библиотекарша Зинаида Федоровна быстро принесла ему стопку *Popular Mechanics* за весь прошлый год. Библиотека получала этот журнал как технический, для офицеров, но никто, кроме Мишки, его никогда не брал, отец, когда Мишка старые экземпляры приносил домой, только пожимал плечами, английского языка он, конечно, не знал, только немецкий немного, но видел, что журнал глупый, «вроде “Техники – молодежи”, только глупее». А Мишка, умея прочитать иногда одно из десяти, а иногда и одно на всю статью слово, журнал очень любил за мелкие черно-белые,

очень старательно нарисованные, как бы выпуклые картинки, на которых была целая отдельная жизнь. Больше всего ему нравилась часто повторявшаяся и внутри номера, и из номера в номер такая картинка: мужчина в белой рубашке с закатанными рукавами, в отброшенном ветром на сторону галстуке едет в открытой американской машине, улыбаясь Мишке прямо в лицо, а над машиной в прыжке летит так же радостно скалящийся тигр. Что означала эта картинка, Мишка понять не мог, из подписи ему было знакомо только слово *oil*, то есть масло. Но никакого масла на картинке Мишка не видел, а видел нечто, напоминавшее ему и «Тарзана в Нью-Йорке», и музыку из «Серенады» – она словно звучала внутри картинки, и Мишка ощущал себя летящим в машине под эту музыку...

Мишка задумался. Он вспомнил, что дядя Лева Нехамкин обещал во время ближайших каникул взять его покататься на «газике» и поучиться управлять машиной, и стал мысленно проделывать все необходимое для того, чтобы тронуться с места, набрать скорость, затормозить... Он давно все это теоретически выучил по книге «Пособие для шофера 3-го класса» и теперь надеялся скоро применить в действительности. Но мысленное повторение последовательности шоферских действий оказалось непосильно для его сосредоточенности, он отвлекся и стал листать журналы дальше. Остановился он на картинке, на которой примерно тот же дядька, что мчался в машине под тигром – только уже не в галстуке, а в комбинезоне с нагрудником, – управлял длинными ручками какой-то маленькой машинки, ехавшей по траве. Понять в подписи Мишка не смог ни одного слова, но догадался, что машинка траву стрижет. Вся же картинка в целом напомнила ему картинку другую, из учебника «История СССР», на которой крестьянин Орловской губернии идет за сохой. Только дядька в журнале шел не по бескрайнему горбтому полю с волнистыми бороздами, а по небольшой лужайке, позади нее стоял дом, похожий на клуб, в котором сейчас сидел Мишка, – с тонкими колоннами и широким балконом, опирающимся на них, а рядом с домом на высоком шесте развевался флаг с полосами и квадратиком звезд, привычно вызывавший у Мишки усмешку, поскольку чаще всего Мишка видел этот флаг на картинках в «Крокодиле».

Впрочем, к «Крокодилу» у Мишки было особое отношение. С одной стороны, все, кого рисовали в этом журнале, ничего, кроме усмешки и презрения, не заслуживали – поджигатели войны в цилиндрах, коротких узких брюках и ботинках на толстой подошве; вредители, тянущие длинные руки-щупальца со спичками к бикфордову шнуру, уходящему под ограду советского завода, точно такую же, как та, которую Мишка видел каждый день; пузатые толстые расхитители, волокущие с колхозного поля снопы; пижоны в длинных широких галстуках и пиджаках почти до колен... С другой стороны, все они были нарисованы так здорово, были такие выпуклые и живые, что отчасти напоминали Мишке самые привлекательные картинки из *Popular Mechanics*, а отчасти рисунки из трофейных журналов мод, которые мать брала у тети Розы и которые Мишка тоже любил рассматривать: высокие мужчины в широких пальто с поясами и в шляпах с переломленными полями и женщины в узких длинных платьях и коротких жакетах с высокими и широкими плечами, в маленьких шляпках, похожих на пилотки...

Мишка закрыл последний журнал, сложил их все аккуратной стопкой, вежливо попрощался с Зинаидой Федоровной, снял с рогатой вешалки, стоявшей тут же, в читалке, пальто и принялся одеваться, чтобы идти домой. За окном читалки, завешенным сборчатой белой занавеской, уже синели поздние февральские сумерки.

Мишка не торопясь брел к дому. Мороз к вечеру ослабел, было похоже на начало оттепели. Мишка вспомнил, что февраль короткий и можно считать, что уже почти март, скоро конец четверти. Это его не сильно волновало, отметки исправлять ему было не нужно – везде пятерки. Но почему-то мысль о наступающем марте испортила ему настроение, а почему – он понять не мог. С ним сделалось что-то странное: его затрясло, хотя он совсем не замерз, и на минуту он почувствовал, что совсем не может дальше идти, ноги ослабели, стали ватными, он поскользнулся, оступился и едва не упал набок, в сугроб. Тут же его и затошнило, и он подумал,

что, наверное, опять заболевает, расстроился еще больше, потому что болеть уже надоело, и, чтобы прийти в себя, стащил с головы шапку, что делать мать категорически запрещала. Холод тут же стиснул стриженую голову, и стало легче. Мишка постоял, надел шапку и решительно свернул в свой двор.

Во дворе снег лежал еще выше, стало уже совсем темно, и в синей тьме были видны только белый снег и черные контуры домов и сараев на фоне синего неба. Тем не менее Мишка сразу увидел, что возле подъезда его дома творится что-то странное – там толпились, двигались люди, человек десять, и оттуда шел негромкий шум голосов. Мишка побежал, оступился, провалился в снег, вылез и снова побежал.

Первого он увидел дядю Леву Нехамкина. Дядя Лева стоял у подъезда, обе двери в который были раскрыты, и держал в руках кобуру, обмотанную ремнем и портупеей, Мишка сразу узнал кобуру от отцовского «тэтэ» и увидел, что она пустая, а дядя Лева посмотрел на Мишку и не сразу его рассмотрел, а когда рассмотрел, то как-то странно улыбнулся, вернее, просто сморщился и сказал:

– Мать там... сейчас уже лучше... ты не ходи.

И Мишка никуда не пошел, а сел на заваленную снегом лавочку у подъезда и закрыл глаза, а когда открыл их, то увидел яркий свет над головой и понял, что он уже лежит дома, прямо в пальто на кровати. В комнате слышны были голоса, и он разобрал голос дяди Сени Квитковского, который отчетливо произнес:

– Какой, к черту, случай, когда в висок?

Мишка снова закрыл глаза, и свет погас.

Глава двенадцатая. Весна

Они с Киреевым сидели на бревнах и вяло, без счета, играли в ножички Мишкиным немецким серебристым ножиком. Лезвие глубоко входило в не высохшую еще землю.

– Поедешь в Москву, пойдешь в мавзолей, позыришь обоих, – в двадцатый раз как бы с завистью сказал Киреев.

Мишка ничего не ответил, вытащил из земли ножик, вытер об рукав куртки лезвие, сложил и сунул в карман.

Киреев отошел к краю бревен, расстегнул штаны, порылся, струя ударила в землю, размывая ее, потекла вбок ручейком.

Мишка достал из кармана кирпично-красную пачку «Примы», отцовскую зажигалку, ленд-лизковский стальной кирпичик с откидывающейся, приятно звякая, крышкой, закурил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.